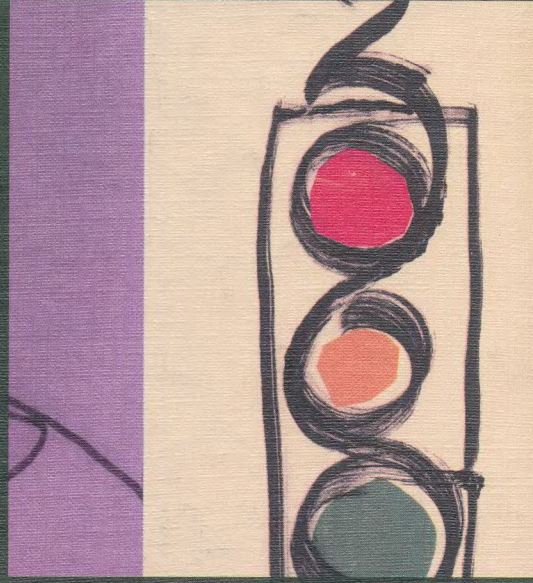


Андрей Вознесенский

Андрей
Вознесенский



Bye Bye Bye.



Собрание сочинений
в пяти томах

том второй

Андрей Вознесенский

2=1>3 000 000 000



ВАГРИУС
Москва 2001

УДК 882-14
ББК 84Р7
В 64

Федеральная программа книгоиздания России

Охраняется законом РФ об авторском праве

ISBN 5-264-00547-8
ISBN 5-264-00549-4 (Т.2)

© Издательство «ВАГРИУС», 2001
© А.Вознесенский, автор, 2001
© К.Заев, дизайн, 2001

Витражных дел мастер

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И — больше ничего.

Я сплю на чужих кроватях,
сиду на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи, —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают как ветряки.
Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутя свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в Тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки как тамариск,
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках,
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев,
на 40% из лжи и ржи...

Но на 1% из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
пред витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жбкет мои легкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

Ностальгия по настоящему

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

Я посетил художника после кончины
вместе с попутной местной чертовкой.
Комнаты были пустынные, как рамы,
что без картины.
Но из одной доносился Чайковский.

Припоминая пустые залы,
с гостей высокой в афроприческе,
шел я, как черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

Женщина в кресле сидела за дверью.
40 портретов ее окружали.
Мысль, что предшествовала творенью,
сделала знак, чтобы мы не мешали.

Как напряженна работа натурщицы!
Мольберты трудились над ней на треногах.
Я узнавал в их все новых конструкциях
характер мятущийся и одинокий —

то гвоздь, то три глаза, то штык трофейный,
как он любил ее в это время!
Не находила удовлетворенья
мысль, что предшествовала творенью.

Над батареею отопленья
крутился Чайковский, трактуемый Геной
Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. В небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещение —

мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, что предшествовала творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мыслью о море стояла аллея.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съеживалось общество потребления.
Мысль о яблоне катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да», — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о создателе,
осень стояла. Дом конопатили.

Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.
«Все оправдалось, мэтр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых
гневым затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомнений —
мысль о бессмысленности творенья.
Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, мэтр модерновый!
Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — гребни лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.
Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.
Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.
Из снежных яблок там во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Стояла яблонная спасительница,
моя стеснительная сенсация.

Среди диванов глаза просили:

«Сенца бы!»

Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платье,
что, забывшись, влюбишься, сбросишь

рубашку

и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетал. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжиц?
И пронесилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь».

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двуручничал тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошел до ручки,
даже за это стихотворенье,
даже за то, что завтра задует, —
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...
И повторяли уже в сновиденье:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призвание лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

Озеро

Кто ты — непознанный Бог
или природа по Дарвину, —
но я по сравненью с Тобой,
как я бездарен!

Озера тайный овал
высветлит в утренней просеке
то, что мой предок назвал
кодом нечаянным: «Господи...»

Господи, это же ты!
Вижу как будто впервые
озеро красоты
русской периферии.

Господи, это же ты
вместо исповедальни
горбишься у воды
старой скамейкой цимбальной.

Будто впервые к воде
выйду, кустарник отрину,
вместо молитвы Тебе
я расскажу про актрису.

Дом, где родилась она, —
между собором и баром...
Как ты одарена,
как твой сценарий бездарен!

Долго не знал о тебе.
Вдруг в захолустнейшем поезде
ты обернешься в купе:
Господи...

Господи, это же ты...
Помнишь, перевернулись
возле Алма-Аты?
Только сейчас обернулись.

Это впервые со мной, это впервые,
будто от жизни самой
был на периферии.

Годы. Темнóты. Мосты.
И осознать в перерыве:
Господи — это же ты!
Это — впервые.

Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичках.
Все гори синим пламенем кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

Звезда

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копья.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
режиссер павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернется, может, роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол короли!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба!
Голая богиня.

Не до муз этим летом крошечным.
В доме — смерти, одна за другой.
Занимаюсь квартирообменом,
чтобы съехались мама с сестрой.

Как последняя песня поэта,
едут женщины на грузовой,
две жилицы в посмертное лето —
мать с сестрой.

Мать снимает пушинки от шали,
и пушинки

летят

с пальтеца,
чтоб дорогу по ним отыскали
тени бабушки и отца.

И как эхо их нового адреса,
проводя заплаканный скarb,
вместо выехавшего августа
в наши судьбы въезжает сентябрь.

Не обменивайте квартиры!
Пощади, распорядок земной,
мою малую родину сирую —
мать с сестрой.

Обменяться бы — да поздновато! —
на удел,
как они, без вины виноватых
и без счастья счастливых людей.

* * *

Боже, ведь я же Твой стебель,
что ж меня отдал толпе?
Боже, что я Тебе сделал?
Что я не сделал Тебе?

Похороны цветов

Хороните цветы — убиенные гладиолусы,
молодые тюльпаны, зарезанные до звезды...
С верхом гроб нагрузивши,
на черном автобусе
провезите цветы.

Отпевайте цветы у Феодора Стратилата.
Пусть в ногах непокрытые Чистые лягут пруды.
«Кого хоронят?» — спросят
выходящие из театра.
Отвечайте: «Цветы».

Она так их любила, эти желтые одуванчики.
И не выдержит мама, когда застучит молоток.
Крышкой прихлопнули, когда стали
заколачивать,
как книжную закладку, белый цветок.

Прожила она тихо, и так ее тихо не стало...
На случайную почву случайное семя падет.
И случайный поэт
в честь Марии Новопреставленной
свою дочь назовет...

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила страна мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и простился.

Называется не экран,
если замертво падают наземь.
Если б Разина он сыграл —
это был бы сегодняшний Разин.

Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко, курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.

Вольноотпущенник времени

Вольноотпущенник Времени возмущает его рабов.
Лауреат Госпремии тех, довоенных годов
ввел формулу Тяжести Времени.
Мир к этому не готов.

Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих зубов.
Вольноотпущенник Времени восхищает его рабов.

Был день моего рождения. Чувствовалась духота.
Ночные персты сирени, протягиваясь с куста,
губкою в винном укусе освежали наши уста.

Отец мой небесный, Время, испытывал на любовь.
Созвездье Быка горело. С низин подымался рев —
в деревне в хлеву от ящюра живьем сжигали коров.

Отец мой небесный, Время, безумен Твой часослов!
На неподъемных веках стояли гири часов.
Пьяное эхо из темени кричало, ища коробок,
что Мария опять беременна, а мир опять не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему рабов.

Не бабье лето — мужиковская весна.
Есть зимний дуб. Он зацветает позже.
Все отцвели. И не его вина,
что льнут к педалям красные сапожки
и воет скорость, перевключена.

В лесу проходят правила вожженья!
Ему годится в дочери она.
Цветут дубы. Ну, прямо наважденье!
Такая незаконная весна
шатает семьи, как землетрясенье.

Учись, его свобода и питомица!
Он твой кумир, опора и кремьень...
Ты на его предельные спидометры
накрутишь свои первые км.
Цветы у дуба розовато-крем,
от их цветенья воздух проспиртованный.

Что будет с вами? Это возраст леса,
как говорит поэт — ребра и беса,
а повесть Евы не завершена...
На память в узелок сплети мизинец.
Прощай и благодарствуй, дуб-зиминец!
Сигналил мужиковская весна.

Табуны одичания

Столбенею на мазутном полустанке.
К Севастополю несутся табуны —
мустанги,
одичавшие после войны.

Одичалый жеребец, чей дед контужен,
ну а бабушка гнедая оккупантка,
племенных кобыл уводит из конюшен.
Ну, мустанги!

Ну, мустанги! Кто разграбил сахар в чайных,
ассигнации слизнул в районном банке?
Рыщет банда долгогривая мустангов.
Одичание.

Одичали над чаирами ничейными
и шиповниками стали розы чайные.
Одновременно с приручением
происходит рост одичания.

Поглядите в глаза дочерние,
что за джунглевые в них чайня? —
В век всеобщего обучения —
частный рост одичания.

А у чалого мустанга жизнь отчаянна,
как прокормишься под вьюгами крещенскими?
Приручение — одичание —
истребление — воскрешение.

Отслужили лошадям панихиду.
Неминуемый гол. Штанга!
Жизнь принюхивается ехидно
музыкальной ноздрей мустанга.

Милый, милый смешной дуралей,
паровоз допотопный кончится,
оказалась его удалей
первозданная мустанговая конница!

Их отстреливают охотники
ради конской колбасы воровато.
Не хватает сейчас Дон Кихотов,
замещают их Россинанты.

Пейте крымское шампанское —
игристое, мускатное!
Не бейте крымских мустангов.
Скачите, мустанги!

Черное ерничество

Когда спекулянты рыночные
прицениваются к Чюрлёнису,
поэты уходят в рыцари
черного ерничества.

Их самоубийственный вывод:
стать ядом во имя истины.
Пусть мир в отвращении вырвет,
а следовательно — очистится.

Но самое черное ерничество,
заботясь о человеке,
химической червоточиной
покрыло души и реки.

Но самые черные ерники
в белых воротничках,
не веря ни в Бога, ни в черта,
кричат о святых вещах.

Верю в черную истину,
верю в белую истину,
верю в истину синюю —
не верю в истину циника...

Мой бедный, бедный ерник!
Какие ж твои молитвы?
У лица дождевые дворники
машут опасной бритвой.

Тоска твою душу ест,
когда ты хохмишь у фрески,
где тащит страдалец крест:
«Христос на воскреснике».

Поэты — рыцари чина
Светлого Образа.
Да сгинет первопричина
черного ерничества!

Новогодние ралли-стоп

Пл. Маяковского. 3 ч. дня.
Ты в четырех машинах впереди меня.
«Волга». «Москвич». «Рафик».
Красный зад с табличкою «проба».
Трафик.
Пробка.

Постовой с микрофоном —
как эстрадный трагик.
Шепот. Робкое дыханье. Трели соловья.
Сопот. Роберт. Долуханова.
Ты в трех машинах впереди меня.
Трафик.

До-ре-ми-фа- соль-ля-си-до-ре —
100 ре-домино-сын в МИСИ-неси 100 ре.

Три часа до Нового года.
Пл. Пушкина. Нет обгона.
Пушкин. Фет. Барков. Переделков. Упаковкин.
Нет парковки.
Пробка.
Исторический график:
Людовики — 7-й, 8-й, 8½, до черта графов.
Твои любовники — Владлен 3-й, Владлен 4-й.
«Рафик».
Мне плохо.
График.
Пробка.
Мысли:
не завелись бы в кардане мыши.

2 часа до Нового года.
Пл. Маяковского. Капоты, капоты —

теснее, чем клавиши
или места на Ваганьковском кладбище.

Авто — моя крепость, авторакетка.
Ловушка!
Кого боится Вирджиния Вульф?
Всех, кто сядет впервые за руль.

Старушка пешком обгоняет вас
со скоростью 100 км в час.
По тротуарам несутся ночные ковбои
с единственной мыслью: кого бы?

«Шкоды»! Пошехония!
Пора ограничить скорость пешеходов.
Или ввести единую.
 $\frac{1}{2}$ часа до Нового года.
Ты в двух машинах впереди меня.
О, вечный зад с табличкою «проба»!
Пробка.

С РАБОТЫ И НА РАБОТУ
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА,
ИЗ ФРУНЗЕ В САРАНСК
НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФРАНС.

Одинокий мужчина
меняет машину
в центре Пушкинской площади
на «Жигули» той же площади,
но в районе Крымского моста

Твоя машина пуста.

Я тоскую по сильным глаголам —
жить — думать — дышать — мчать,
как форвард тоскует по голу,
когда окончился матч.

Догнать — обернуться — увидеть —
вернуться — себя подарить —
нарушить — возненавидеть —
разбиться — и благодарить —

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В КАССАХ АЭРОФЛОТА
НЕ СИДИТЕ БЕЗ ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ —
умчать себя к Новому году —
ты во всех машинах впереди меня.

Нарушу.

Эй, выйдемте все из панцирей и из капотов
и из зада с табличкою «проба».

Наружу!

Шампанского!!
С Новым годом!!!

Пробка!

Дорогие литсобратья!
Как я счастлив оттого,
что средь общей благодати
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти,
я не зря живу свой век —
оттеняю совершенство
безукоризненных коллег.

Когда по Пушкину кручинились миряне,
что в нем не чувствуют бывшего волшебства,
он думал: «Милые, кумир не умирает.
В вас юность умерла!»

«80» — в нимбе знака,
как некий новый святой.
Раздавленная собака
валлется на осевой.

Не я же ее зарезал,
зачем же она за мной
как по дрезинной рельсе
несется по осевой?

Рана черна от гнуса.
Скорость в пределах ста.
Главное — не оглянуться.
Совесьть моя чиста.

Российские селф-мейд-мены

Пробегаю по камням,
и летает по пятам
поэт в первом поколеньи —
мой любимый адъютант.

Честность в первом поколеньи,
за душою ни рубля.
Самородки, селф-мейд-мены
сами делают себя.

Их шлифуют подсистемы,
благолепие любя.
Покolenья селф-мейд-менов
сами делают себя.

Есть у Музы подвиг страдный,
и посты монастыря,
и преступная эстрада —
как гуляющая сестра!

Совесть в первом поколеньи
и опасная судьба —
разоряя озареньем,
рождать заново себя.

Как обкуренную трубку,
иль подругу отлюбя,
джинсы, сшитые из Врубеля,
подарю после себя.

Волю в первом поколеньи,
на швах вытертый талант,
но не стертый на коленях.
Будь мужчиной, адъютант!

Не ослушайся приказа:
тело может сбить с лыжни.
Уходя, как ключ, два раза
во мне ножик поверни.

Не забудь

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на пиджак нагрудный знак
под названием «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),

сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху он надел жену,
и вдобавок — не одну,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.

Опоясался как рыцарь
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.
Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.

(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без Времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

Гость из тысячелетий

Во время посещения Австралии мы с Алленом
Гинсбергом гостили у величайшего певца аборигенов
Марика Уанджюка. Через год он нанес мне
ответный визит.

I

Колумб XX века, вождь аборигенов Австралии,
бронзовый, как исчезнувший майский жук,
Марика Уанджюк,
без компаса и астрологии —
открыл Арбат.
Путь был опасностями чреват.

Уанджюк не свалился:
с «Каравеллы»,
с Ту,
с Ила,
с «Боинга-707»,
Уанджюка вертолет крутил, как праща,
Уанджюка не выкрали террористы,
Уанджюк не отравился:
после винегрета по-австралийски,
«Взлетной» карамели,
туалетного мыла,
портвейна «777»,
суточного борща,
шуточного «ерша»
и деликатеса «холодец».
Уанджюк молодец!

II

Через таможенные рентгены
он вывез наблюдения, засунув в плавки!

«Арбатские аборигены»
(для справки)

«Московиты —
мозговиты.

Их ум
становится в очередь к храму
под названием ГУМ.

Врачей белохалатная каста
держит в невежестве этот талантливый
и трудолюбивый народ.

Они верят, что химические лекарства
способны вылечить, а не наоборот.

Они верят, что человек умирает со смертью тела,
как если бы бабочка
умирала со смертью кокона
(см. гипотезу Бабушкина и Когана).

Тысячелетняя их культура созревает,
юна еще и слаба.
Они и не подозревают об Абебеа.

Они очень лживы
(но без наживы).
Если москвич говорит: «Спасибо. Мы сыты», —
значит, умирает от аппетита.
Школьники учат про Али-Баба,
но понятия не имеют об Абебеа.

У них культ барахла носильного.
Они не знают, что гораздо красивее,
когда ты только в воздух одет!

Они не знают,
что самка крокодила
хочет, чтоб возлюбленный ее насиловал.
Поэтому дети ее живут 400 лет.

Они освоили транзисторы и твисты,
но не доросли еще до пониманья
птичьего свиста.

А летом (в декабре) в этой самой Московии
выпадает белая магия — «снег».
Все по сравнению с ним — тускло,

все вызывает оскмину,
и кажется желтым дневной свет.

А ночью кусочки белого
стоят
в воздухе
спокойно,
а дома и деревья уносятся вверх!»

III

Уанджюку все очень понравилось.
Он хотел бы остаться напостоянно.
Но у них нет Океана.
У них есть кино,
но нет Океана,
у них есть блондинка Оксана,
но нет Океана,
у них есть музыка композитора Экимяна,
но нет, нет Океана.

Еще загвоздка:
они боятся свежего воздуха,
закупоренные
в квартиры огнеупорные.
Они употребляют воздух, кипяченный
в вентиляции.

Даже Андрей,
который явно
вкусил нашей зеленой цивилизации,
и тот не вылезает из-за дверей
и не имеет собственного Океана.
Странно.

И делает вид, что не знает об Абебеа.
Беда!

IV

«Арбатские аборигенши»
одеты
(летом):

в баранью бекешу
(чем мохнатее, тем модней),
под ней
куртка замшевая
и вздох «замужем я...»,
под ней
пять ремней
на пряжках,

под ними
кофта синяя
овечьей пряжи
и «молния» американская
(смыкается, но не размыкается),

под ней
рубашка пляжная,
с видом
на Сидней,

под ней
свитер
и 2 ночные рубахи,
охи, ахи,

под ними
бикини
на ватине
с завязками, как силок.
Под ними —
кошелек.

Культура тела весьма слаба.
Они не расчесывают боа
и понятия не имеют об Абебеа.

V

«Уанджюк, что такое Абебеа?»

«Это похоже на аабебе.
Оно над Римами и Аддис-Абебами
звенит бессмертное на трубе!

Это священной войны и блуда,
 Брижит Бардо посреди двух А.
 Непостижимы Аллах и Будда,
 но непостижимей Абебеа.
 Все остальное белиберда —
 абебеа, абебеа...»

«Уанджюк, что ж такое Абебеа?»
 Уанджюк улыбнулся, губами синяя,
 улыбка поэта была слаба:

«Рифмовка дантовского сонета —

а —

б —

б —

а —

а —

б —

б —

а —»

Уанджюк опять ушел от ответа.

Так что же такое Абебеа?

Человек бежит песчаный
по дороженьке печальной.

На плечах красиво сшита
майка в дырочках, как сито.

Не беги, теряя вес,
можешь высыпаться весь!

Но не слышит человек,
продолжает быстрый бег.

Пробегают по Москве —
остается: «ЧЕЛОВЕ...».

Где ты, Детское село?
Остается лишь: «ЧЕЛО...».

Майка виснет на плече:
остается только: «ЧЕ...».

.....

Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...

Пир

Человек явился в лес,
всем принес деликатес:

лягушонку
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедем?»

Человек сказал в ответ:
«Нет.
Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
алохолом, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,

две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т. д.

Плюс сидит в печенках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это
убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный:
если хочешь — ты нас скушай».

Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

Неба бы!..

В магазин зашел: «Алло!
Дайте неба полкило».

Продавцов сказали двое:
«С небом перебои.
Нету черного, ночного,
белого нет, облачного,
ни розового, ни голубого,
ни серого — ну никакого,
нету неба бородинского!..»

«Тоже мне — князь Андрей».
«Гражданин, не надо диспутов!
Не толпитесь у дверей».

«Дома глазки голубые
Ждут, чтоб неба им добыли.
Если неба не давать —
они будут затухать.
Отпусти, небена мать».

Продавщица ответила: «Сочувствую.
Вместо хлеба нам насущного
отпустить могу вам смога.
Но немного».

«Мне хотя бы без изюма,
И без звезд.
Я ее люблю безумно!
Разрешите встану в хвост».

«Ваши бы заботы мне бы...
В мировой голубизне
строить общество без неба

нелегко в одной стране.
В Марксе нет социализма.
Вода кончилась в воде.
Бензина самоубийце
нету. Неба нет нигде.
А в авоське — как кроссворд.
Угадай, из чего торт?»

«Нашенским без неба — финиш.
Даже в тюрьме
пайки синенькие видишь
четвертушками в окне.

Мне хотя бы ломтик надо,
чтобы глазки зацвели.
Мне сказали, из Канады
тонну неба завезли».

Продавец сказал любезно:
«Страна наша безнебесна.
Где работаешь, дебил?
Сам ты небо задымил».

Человек ушел без неба
в безнебесные места.
У моста слепые требуют:
«Подайте цеба, ради Христа».

Друг мой, мы зажились. Бывает.
Благодать.
Раз поэтов не убивают,
значит, некого убивать.

«Скрюченный мальчик» резца Микеланджело,
сжатый, как скрепка писчебумажная,
что впрессовал в тебя чувственный старец?
Тексты истлели. Скрепка осталась.

Скрепка разогнута в холоде sklepa,
будто два мрака, сплетенные слепо,
дух запредельный и плотская малость
разъединились. А скрепка осталась.

Благодарю, необъятный Создатель,
что я мгновенный твой соглядатай —
Сидоров, Медичи или Борджиа —
скрепочка Божья!

В саду оmyвая машину,
к обочине перейду
и вымою ноги осине,
как грешница ноги Христу.

И ливень, что шел стороною,
вернется на рожь и овес.
И свет мою душу оmyет,
как грешникам ноги Христос.

Я удивляюсь, Господи, Тебе.
Поистине — «кто может, тот не хочет».
Тебе милы, кто добродетель корчит.
А я не умещаюсь в их толпе.
Я Твой слуга. Ты свет в моей судьбе.
Так связан с солнцем на рассвете кочет.
Дурак над моим подвигом хохочет.
И небеса оставили в беде.
За истину борюсь я без забрала.
Деяний я хочу, а не словес.
Тебе ж милее льстец или доносчик.
Как небо на дела мои плевало,
так я плюю на милости небес.
Сухое дерево не плодоносит.

Любовь моя, как я тебя люблю!
Особенно когда тебя рисую.
Но вдруг в тебе я полюбил другую?
Вдруг я придумал красоту твою?
Но почему ж к друзьям тебя ревную?
И к мрамору ревную и к углю?
Вдвойне люблю — когда тебя леплю,
втройне — когда я точно зарифмую.
Я истинную вижу Красоту.
Я вижу то, что существует в жизни,
чего не замечает большинство.
Я целюсь, как охотник на лету.
Ухвачено художнической призмой,
божественное станет божество!

Уста твои встречаются с цветами,
когда ты их вплетаешь в волосы.
Ты их ласкаешь, стебли вороша.
Как я ревную к вашему свиданью!

И грудь твою, затянутая тканью,
волнуется, свята и хороша.
И кисей коснется щек, шурша.
Как я ревную к каждому касанью!

Напоминая чувственные сны,
сжимает стан твой лента поясная
и обладает талией твоей.

Ее объятия чисты и нежны.
Нежней объятий в жизни я не знаю...
Но руки мои в тысячу раз нежней!

Здесь с копьями кресты святые сходны,
 кровь Господа здесь продают в разлив,
 благие чаши в шлемы превратив.
 Кончается терпение Господне.
Когда б на землю он сошел сегодня,
 его б вы окровавили, схватив,
 содрали б кожу с плеч его святых
 и продали бы в первой подворотне.
Мне не нужны подачки лицемера,
 творцу преуспевать не надлежит.
 У новой эры — новые химеры.
За будущее чувствую я стыд:
 иная, может быть, святая вера
 опять всего святого нас лишит!

Конец.

Ваш Микеланджело в Туретчине.

Фигуру «Ночь» в мемориале сна
из камня высек Ангел, или Анжело.
Она жива, верней — уснула заживо.
Окликни — и пробудится Она.

Ответ Буонарроти

Блаженство — спать, не ведать злобы дня,
не ведать свары вашей и постыдства,
в неведении каменном забыться...
Прохожий! Тсс... Не пробуждай меня.

Я пуст, я стандартен. Себя я утратил.
Создатель, Создатель, Создатель,
Ты дух мой похитил,
Пустынна обитель.

Стучу по груди пустотелой, как дятел:
Создатель, Создатель, Создатель!
Как на сердце пусто
От страсти бесстыжей.
Я вижу Искусством,
А сердцем не вижу.
Где я обнаружу
Пропавшую душу?
Наверно, вся выкипела наружу.

I

Я счастлив, что я умер молодым.
Земные муки — хуже, чем могила.
Навеки смерть меня освободила
и сделалась бессмертием моим.

II

Я умер, подчинившись естеству.
Но тыщи дум в моей душе вмещались.
Одна из них погасла — что за малость?!
Я в тысячах оставшихся живу.

Кончину чую. Но не знаю часа.
 Плоть ищет утешенья в кутеже.
 Жизнь плоти опостылела душе.
 Душа зовет отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаще
 среди ядовитых гадов и ужей.
 Как черви, лезут сплетни из ушей.
 И Истина сегодня — гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
 Когда ж взойдет, Господь, что Ты посеял?
 Нас в срамоте застанет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
 Нам даже в смерти не найти спасенья.
 И отвернутся ангелы от нас.

Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В каморке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.

Я слышу — об стену журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Полно во дворе человечьего шлака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с натуры:
Ужасен мой лик, бороденка — как щетка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкал,
не вырвется фуга плененного духа.

Где синие очи? Повыцвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милой поцелуя.

Дешев парадокс — но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслаждение в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберточкой в бакалее
и станут бумагой туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
К иным поколениям взвивал свой треножник?!
Все прах и тщета. В нищете околею.
Таков твой итог, досточтимый художник.

Четырежды и пятирижды
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку
дыхание перевести!»

Друзей своих опередивши,
я снова взвинчиваю темп,
чтоб выиграть для передышки
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона
мы вырвались на три версты,
а чтоб упасть освобожденно
в невытопанные цветы!

Щека к щеке, как две машины,
мы с той же скоростью идем.
Движение неощутимо,
как будто замерли вдвоем.

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши хоть раз в столетье
дыхание перевести!

Реквием

Возложите на море венки.
Есть такой человеческий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги,
на другом — на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы
над землею сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколениям пришедшим:
«Кто живой — возложите венки».

Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.

И на ложь возложите венки,
в ней мы гибнем, товарищ, с тобою.
Возложите венки на Свободу.
Пусть живет. Возложите венки.

Я, урод в человечьем ряду,
в аллергии, как от крапивы —
исповедую красоту.
Только чувство красиво.

Исповедую луг у Нерли,
не за имя,
а за то, что он полон любви
и любви невзаимной.

Исповедую спящей черты...
Мне будить Тебя грустно и чудно.
Прежде чем пробуждаешься Ты —
пробуждается чувство.

Исповедую исповедь-быль:
в век научно-технический, бурный,
гастролера, чье имя забыл,
полюбила студентка-горбунья.

Полюбила исподтишка,
поливала цветы сокровенно.
Расцветали в горбатых горшках
целомудренные цикламены.

Полюбила, от срама бледна,
от позора таясь, как ракушка,
Прежде чем появлялась она,
появлялось сияние чувства.

Лик закинув до забытья,
вся светясь и дрожа от волненья
словно зеркальце для бритья —
вся ловила его отраженье.

Разбить зеркальце не к добру.
Была милостыня свиданья.
Просияло в аэропорту
милосердье страданья.

Переписка их, свято нага,
вслух читалась на почте.
Завизжала и прогнала,
когда он к ней вернулся пошло.

Он стоял на распутьях пустых,
подбирал матерщину обидную.
Он ее милосердье постиг,
Как ему я завидую!

Городка подурнели черты.
А над нею — как холмик печали —
плачет чувство такой красоты!
Его ангелом называли.

С первого по тринадцатое
нашего января
сами собой набираются
старые номера
сняли иллюминацию
но не зажгли свечей
с первого по тринадцатое
жены не ждут мужей

с первого по тринадцатое
пропасть между времен
вытри рюмашки насухо
выключи телефон

дома как в парикмахерской
много сухой иглы
простыни перетряхиваются
не подмести полы

вместо метро «Вернадского»
кружатся деревья
сценою императорской
кружится Павлова
с первого по тринадцатое

только в России празднуют
эти двенадцать дней
как интервал в ненастиях
через двенадцать лет
вьюгою патриаршею
позамело капот
в новом непотерявшееся
старое настает
будто репатриация

я закопал шампанское
под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою
вдруг его не найду
нас обвенчает наскоро
белая коронация
с первого по тринадцатое
с первого по тринадцатое

Поэму «Авось!» я начал писать в Ванкувере.

Безусловно, в ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан-францисскими, где герой наш, «ежедневно куртизируя Гишпанскую красавицу, приметил предприимчивый характер ея», о чем откровенно оставил запись от 17 июня 1806 года.

Сдав билет на самолет, сломав сетку выступлений, под утро, когда затихают хиппи и пихты, глотал я лестные страницы о Резанове толстенного тома Дж. Ленсена, следя судьбу нашего отважного соотечественника.

Действительный камергер, создатель японского словаря, мечтательный коллега и знакомец Державина и Дмитриева, одержимый бешеной идеей, измученный бурями, добрался он до Калифорнии. Команда голодала. «Люди оцыножали и начали слягать. В полнолуние освежались мы найденными ракушками, а в другое время били орлов, ворон, словом, ели, что попало...»

Был апрель. В Сан-Франциско, надев парадный мундир, Резанов пленил Кончу Аргуэльо, прелестную дочь коменданта города. Повторяю, был апрель. Они обручились. Внезапная гибель Резанова помешала свадьбе. Конча постриглась в монахини. Так появилась первая монахиня в Калифорнии. За океаном вышло несколько восхищенных монографий о Резанове. У Брет Гарта есть баллада о нем.

Дописывал поэму в Москве.

В нашем ЦГИА хранится рукописный отчет Резанова, частью опубликованный у Тихменева (СПб, 1863). Женственный, барочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительное.

Какова личность, гордыня, словесный жест! «Наконец являюсь я. Губернатор принимает меня с вежливостью, и я тотчас занял его предметом моим».

Слог каков! «...и наконец погаснет дух к важному и величественному. Словом: мы уподобимся обитому огниву, об кото-

рый до устали рук стуча, насилиу искры добьешься да и то пустой, которую не зажжешь ничего, но когда был в нем огонь, тогда не пользовались».

Как аввакумовски костит он приобретателей: «Ежели таким бобролюбцам исчислить, что стоят бобры, то есть сколько за них людей перерезано и погубло, то может быть пониже бобровыя шапки нахлобучат!»

Как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество: «18 июля 1805 г. В самое тож время произвел я над привезенным с острова Атхи мещанином Куликаловым за бесчеловечный бой американки и грудного сына торжественный пример строгого правосудия, заковав сего преступника в железы...»

Резанов был главой того первого кругосветного путешествия россиян, которое почему-то часто называют путешествием Крузенштерна. Крузенштерн и Лисянский были под началом у Резанова и ревновали к нему. Они не ладили. В Сан-Франциско наш герой приплыл, уже освободившись от их общества, имея под началом Хвостова и Давыдова.

Матросы на парусниках были крепостными. Жалование, выплачиваемое им, выкупало их из неволи. Таким образом, их путь по океану был буквальным путем к свободе.

В поэму забрели два флотских офицера. Имена их слегка измененные. Автор не столь снисходителен к себе, чтобы изображать лиц реальных по скудным сведениям о них и оскорблять их приблизительностью. Образы их, как и имена, лишь капризное эхо судеб известных. Да и трагедия евангельской женщины, затоптанной высшей догмой, — недоказуема, хотя и несомненна. Ибо неправа идея, поправлявшая живую жизнь и чувство.

Смерть настигла Резанова в Красноярске 1 марта 1807 г. Кончитта не верила доходившим до нее сведениям о смерти жениха. В 1842 г. известный английский путешественник, бывший директор Гудзоновой компании сэр Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности гибели нашего героя. Кончитта ждала Резанова тридцать пять лет. Поверив в его смерть, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла великий постриг в доминиканском монастыре в Монтерее.

Понятно, образы героев поэмы и впоследствии написанной оперы «Юнона и Авось» не во всем адекватны прототипам. Текст оперы был написан мною в 1977 г. Композитор А. Рыбников написал на ее сюжет музыку, в которой заворуженно оркестровал историю России, вечную и нынешнюю. В 1981 г. опера поставлена М. Захаровым в Театре им. Ленинского комсомола. Словом, если стихи обратят читателя к текстам и первоисточникам этой скорбной истории, труд автора был ненасправсен.

ОПИСАНИЕ

*в сентиментальных документах, стихах и молитвах
славных злоключений Действительного Камер-Герра
НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА,
доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова,
их быстрых парусников «Юнона» и «Авось»,
сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо,
любезной дочери его Кончи
с приложением карты странствий необычайных.*

«Но здесь должен я Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Консепсия умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность начали неприметно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежедневно зближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву

17 июня 1806 г.

(ЦГИА, ф. 13, с. 1, д. 687)

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из Россиян здесь бродить так сказать по ножевому острию...»

Н. Резанов — директорам Русско-амер. компании

6 ноября 1805 г.

«Теперь надеюсь, что «Авось» наш в Мае на воду спущен будет...»

От Резанова же 15 февраля 1806 г.

Секретно

Вступление

«Авось» называется наша шхуна.
Луна на волне, как сухой овес.
Трави, Муза, пускай худо,
но нашу веру зовут «Авось»!

«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,
гармонизируется Хавос.
На суше барщина и Фонвизины,
а у нас весенний девиз «Авось»!

Когда бессильна «Аве Мария»,
сквозь нас выдыхивает до звезд
атеистическая Россия
сверхъестественное «авось»!

Нас мало, нас адски мало,
и самое страшное, что мы врозь,
но из всех притонов, из всех кошмаров
мы возвращаемся на «Авось».

У нас ноль шансов против тыщи.
Крыш-ка!
Но наш ноль — просто красотища,
Ведь мы выживали при «минус сорока».

Довольно паузы. Будет шоу.
«Авось» отплыть провозгласил.
Пусть пусто у паруса за душою,
но пусто в сто лошадиных сил!

Когда ж наконец откинем копыта
и превратимся в звезду, в навоз —
про нас напишет стишки пиита
с фамилией, начинающейся на «Авось».

I Пролог

В Сан-Франциско «Авось» пиратствует —
ЧП!
Доченька губернаторская
спит у русского на плече.

И за то, что дыханьем слабым
тельный крест его запотел,
Католичество и Православье,
вздвев крыла, стоят у портьер.

Расшатываются устои.
Ей шестнадцать с позавчера,
с дня рождения удрала!
На посту Довыдов с Хвастовым
пьют и крестятся до утра.

II

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: О происхожденье видов?

ХВАСТОВ: Да нет...

III

(Молитва Кончи Аргуэльо — Богоматери)

Плачет с сан-францисской колокольни
барышня. Аукается с ней
Ярославна! Нет, Кончаковна —
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Мать-заступница,
против родины и отца,
государственная преступница,
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска,
в непроглядные времена
на балконе высекла искру
пряжка сброшенного ремня.

И за то, что учил впервые
словесам ненашей страны,
что как будто цветы ночные,
распускающиеся в порыве,
ночью пахнут, а днем — дурны.

Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
ты, которая не любила,
как ты можешь меня понять?!

Как нища ты, людская вселенная,
в боги выбравшая свои
плод искусственного осеменения,
дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча,
рада я, что сын твой издох!...»

И ответила Непорочная:
«Доченька...»

Ну, а дальше мы знать не вправе,
что там шепчут две бабы с тоской —
одна вся в серебре, другая —
до колен в рубашке мужской.

IV

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов...
ДОВЫДОВ: Как вздернуть немцев и пиитов?
ХВАСЛОВ: Да нет...
ДОВЫДОВ: Что деспоты
не создают условий для работы?
ХВАСЛОВ: Да нет...

V

(Молитва Резанова — Богоматери)

«Ну, что тебе надо еще от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты музыка сада,
ну что тебе надо еще от меня?

Я был не из знати. Простая семья.
 Сказала: «Ты темен» — учился латыни.
 Я новые земли открыл золотые.
 И это гордыни твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
 Зачем же лишаешь последней услады?
 Она ж несмысленныш и малое чадо...
 Ну, что тебе мало уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня.
 И вышла усталая и без наряда.
 Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
 Ну что тебе надо еще от меня?»

VI

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов...
 ДОВЫДОВ: О макси-хламидах?
 ХВАСТОВ: Да нет... ДОВЫДОВ: Дистрофично
 безвластие, а власть катастрофична?
 ХВАСТОВ: Да нет... ДОВЫДОВ: Вы
 надулись?

Что я и крепостник и вольнодумец?
 ХВАСТОВ: Да нет. О бабе, о резановской.
 Вдруг нас американцы водят за нос?
 ДОВЫДОВ: Мыслю, как и ты, Хвастов, —
 давить их, шлюх, без лишних слов.
 ХВАСТОВ: Глядь! Дева в небе показалась,
 на облачке. ДОВЫДОВ: Показалось...

VII

(Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 г.)

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми
 ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на
 судне, ни на крепости, гишпанские гитары смешивались
 с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить
 женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

Помнишь, свадебные слуги,
 после радужной севрюги,
 апельсинами в вине
 обносили не?

как лиловый поп в битловке,
 под колокола бывшего,
 кольца, тесные с обновки
 с имечком на тыльной стороне, —
 нам примерил не?

а Довыдова с Хвастовым,
 в зал обеденный с восторгом
 впрыгнувших на скакуне, —
 выводили не?

а мамаша, удивившись,
 будто давленные вишни
 на брюссельской простыне,
 озадаченной родне, —
 предъявила не

(лейтенантик Н
 застрелился не)?

а когда вы шли с поклоном,
 смертно-бледная мадонна
 к фиолетовой стене
 отвернулась не?

Губернаторская дочка,
 где те гости? Ночь пуста
 Перепутались цепочкой
 два нательные креста.

Архивные документы, относящиеся к делу Резанова Н.П.

(Комментируют арх. крысы — игреки и иксы)

№ 1

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет,
 когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство
 чуждым народам... Государство в одном месте избавляет-
 ся вредных членов, но в другом от них же получает
 пользу и ими города создает...»

Н. Резанов — Н. Румянцеву

№ 2 Второе письмо Резанова — Н. И. Дмитриеву

Любезный Государь Иван Иванович Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настойку из термитов.
Душой я бешено устал!

Чего ищу? Чего-то свежего!
Земли старые — старый сифилис.
Начинают театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.

Земли новые — табула раза.
Расселю там новую расу —
Третий Мир — без деньги и петли,
ни республики, ни короны!

Где земли золотое лоно,
как по золоту пишут иконы,
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при Дворе, посодействуй, —
на американочке женюсь...

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,
из куртизанов!
Хихикс...»

№ 3 Выписка из истории г.г. Довыдова и Хвастова

Были петербуржцы — станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном — два костра.
Одного — на небо, другого — в карцер!
После сатисфакции — два конца!
Но пуля врезалась в пулю встречную.
Ай да Довыдов и Хвастов!
Враги вечные на братство венчаны.
И оба — к Резанову, на Дальний
Восток...

ЧИН ИГРЕК:

«Засечены в подпольных играх».

ЧИН ИКС:

«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 г. Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х....., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то сделал его начальником и в то же время написал к нему Мичмана Давыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил 9 ½ ведер французской водки и 2 ½ ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

(Из Второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 г. Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядями окруженных».

Резанов — министру коммерции

Рапорт

Мы — Довыдов и Хвастов,
оба лейтенанты.

Прикажете — в сто стволов
жахнем латинянам!

«Стоп, Довыдов и Хвастов!»

«Вы мягки, Резанов».

«Уезжаю. Дайте штоф.

Вас оставлю в замах».

В бой, Довыдов и Хвастов!
 Улетели. Рапорт:
 «Пять восточных островов
 Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству г.г. Хвостова
 и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы
 их...»

Резанов

«18 октября 1807 г. Когда я вошел к Капитану Бухарину,
 он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать
 меня. Ни мне ни Лейтенанту Хвостову не позволялось
 выходить из дому и даже видеть лицо какого-либо смерт-
 ного... Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку.
 Вот картина моего состояния! Вот награда, есть ли не
 услуг, то по крайней мере желаний оказать оные. При срав-
 нении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обли-
 вается кровью и оскорбленная столь жестоким образом
 честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

Мичман Давыдов».

*(Выписка из «Донесения Мичмана Давыдова
 на квартире уже под политическим караулом»)*

№ 4 В темнице

ДОВЫДОВ: А что ты думаешь, Хвастов?..

ХВАСТОВ: Бухарин! Сука! Враг Христов!

Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!

ДОВЫДОВ: Тсс... Стражник передаст...

ХВАСТОВ: Чмо! Скот! Мы, офицеры, страждем!

Эй, стражник!

Нажрался паразит. Разит.

СТРАЖНИК: С-ик тран-зит...

Восток алеет. Помолись.

ХВАСТОВ *(бледнеет)* : Это мысль.

О, Дева, в ризах как стеклярус!

Ты, что к Резанову являлась!

(Мы на Тебя не слали кляуз,

мы за Тебя интриговали

против американской крали.)

Спаси невинных индивидов!..

(В ужасе.) Гляди, Довыдов.

Распались цепи. Стража отвалилась.
Дверь отворилась.
И кони у крыльца в кибитке...
ГОЛОС: Бегите!

По трассе будущей Турксиба.
ДОВЫДОВ и ХВАСЛОВ: Спасибо!

(Бегут.)

ДОВЫДОВ: Зер гут.

Религия не лишена основ.

А? Что ты думаешь, Хваслов?

№ 5

МНЕНИЕ КРИТИКА ЗЕТА:

От этих модернистских оборотцев
Резанов ваш в гробу перевернется!

МНЕНИЕ ПОЭТА:

Перевернется — значит, оживет.

Живи, Резанов! «Авось», вперед!

№ 6

ЧИН ИГРЕК:

Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи
Н. Резанов на 10 лет дольше, то, что мы называем сейчас
Калифорнией и Американской Британской Колумбией
были бы русской территорией».

Амертон (США)

ЧИН ИКС:

Сравним, что говорит нам Головнин:

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый
писака, говорун, имеющий голову более способную и созда-
вать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам,
происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер

В. М. Головнин

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот Иск».

№ 7 Из письма Резанова — Державину

Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин,
но любопытен по терзаньям:

Мой памятник

«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...
Увечный
наш бранный разум цепляется за пирамиды,
статуи, памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше —
но далее ни черта!

Я — последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цифиризации
культура — позорнейшая из вещей.

Позорно знать неправду и не назвать ее,
а назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны назвать свадьбой,
да еще кривляться на похоронах.

За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-американо-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.

И они примутся доказывать, что слова мои были вздорные.
Сложат лучшие песни, танцы, напишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо вздернули.
Вот это будет тот еще памятник!»

№ 8

«16 августа 1804 г. Я должен так же Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует

размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более нежели 30-ть человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаянье, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

Из письма Н. Резанова — Императору

ЧИН ИКС:

«И ты, без женщин забуревший,
на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»

№ 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме
родителей ея, разность религий, и впереди разлука
с дочерью было для них громовым ударом».

Отнесите родителям выкуп
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю».

Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»

(если глянуть в ее окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной
трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой),

принесите бокалы силезские
из поющего хрустала,
ведешь влево — поют «Марсельезу»,
ну а вправо — «Храни короля»,

принесите три самых желания,
что я прятал от жен и друзей,
что угрюмо отдал на закланье
авантюрной планпде моей!..

Принесите карты открытий,
в дымке золота как пыльца,
и, облив самогоном, —
сожгите
у надменных дверей дворца!

«...они прибегнули к Миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Консепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что соглашено с тем, чтоб до разрешения Папы было сие тайною».

№ 10

ЧИН ИКС:

«Еще есть образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с....»

«Я представлял ей край Российской посуровее и притом
во всем изобильной, она была готова жить в нем...»

№ 11 Резанов — Конче

Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,
как серебряный силомер.

Там храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрфорсы,
будто лошади воду пьют.

Их ночная вода поила
вкусом чуда и чебреца,
чтоб наполнить земною силой
утомленные небеса.

Через год мы вернемся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, Папа и твой отец!

VIII (В Сенате)

Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взревновали. Позабыли.
Господи, благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.

IX Молитва Богоматери — Резанову

Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восьмисотая весна!
Матерь от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарожденной
похоронно бьют колокола.

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни.
Плоть не против Духа, ибо дух —
то, что возникает между двух.

Тело отпусти на покаяние!
Мои церкви в тыщи киловатт
загашу за счастье окаянное
губы в табаке поцеловать!

Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любую из марусь...
Николай и наглая девица,
вам молюсь!

Эпилог

Спите, милые, на шкурах росوماховых.

Он погибнет

в Красноярске

через год.

Она выбросит в пучину мертвый плод,

станет первой сан-францисскою монахиней.

Взгляд

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.

Ты — моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхиваю, бренча.
Как ты пылаешь великолепно
волей Создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?
Грех работенка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Коненков?
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш
стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Весны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажженных светил.
Темное время — вечная вера.
Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жилье,
если ты верно назвал свое имя,
значит, сгораю во имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умоваю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
темный нагар на реснице набряк.

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денек —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружен.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и он.

За упокой Высоцкого Владимира
коленипреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлете,
орет за тридевять земель:
«Володя!»

Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,

с беспечной челкой на челе,
 носил гитару на плече,
 как пару нимбов.
 (Один для матери — большой,
 золотенький,
 под ним для мальчика — меньшей...)

Володя!..
 За этот голос с хрипотцой,
 дрожь сводит,
 отравленная хлеб-соль
 мелодий,
 купил в валютке шарф цветной,
 да не походишь.
 Спи, русской песни крепостной —
 свободен.

О златоустом блатаре
 рыдай, Россия!
 Какое время на дворе —
 таков мессия.

А в Склифосовке филнал
 Евангелня.
 И Воскрешающий сказал:
 «Закрыть едальники!»

Твоею песенкой ревя
 под маскою,
 врачи произвели ре-
 нимацию.

Вернули снова жизнь в тебя.
 И ты, отудобев,
 нам всем сказал: «Вы все — туда,
 а я оттудова...»

Гремите, оркестры!
 Козыри — крести.
 Высоцкий воскресе.
 Воистину воскресе.

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

Я шел вдоль берега Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаляня собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

Мать

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовный индустрии и примусов,
в мире, замешенном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?

Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.
Я ощущаю присутствие в доме.
В темных стихиях ты наша заступница,
Тоня...

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлеба на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалось. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой
с тайным присутствием идеала,
что приблизительно звали — любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в ужасе дня или радости дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал униженно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно — моей, принесите своей.

Водная лыжница

В трос вросла, не сняв очки бутылки, —
уводи!

Обожает, чтобы уводили!

Аж щека на повороте у воды.

Проскользила — боже! — состругала,
наклонившись, как в рубанке оселок,
не любительница — профессионалка,
золотая чемпионка ног!

Я горжусь твоей слепой свободой,
обмирающе до кишок —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.

Как истосковалась по пиратству
жепщина в сегодняшнем быту!
Главное — ногами упираться,
чтоб не вылетала на ходу.

«Укради, как раньше на запятках, —
миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.

Укради за воды и за горы,
только бы надежен был мужик!
В золотом забвении увода
о немеют десны и язык.

«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..

...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолетным разве что сравнимый
на душе, что воздуху сродни.

След потери нематериальный,
свет печальный — Бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.

Над пашней сумерки нерезки,
и солнце, уходя за лес,
как бы серебряною рельсой
зажжет у пахоты обрез.

Всего минуту, как, ужаля,
продлится тайная краса.
Но каждый вечер приезжаю
глядеть, как гаснет полоса.

Моя любовь передвечерняя,
прощальная моя любовь,
полоска света золотая
под затворенными дверьми.

«Дверь отворите гостье с дороги!»
Выйду, открою — стоят на пороге,
словно картина в раме, фрамуге,
белые брюки, белые брюки!

Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору — дышат в обтяжку
белые брюки, польская пряжка.

Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухи —
темные ночи, белые брюки.

Белые брюки, ночные ворюги,
«молния» слева или на брюхе?
Русая молния шаровая,
обворовала, обворовала!

Ах, парусинка моя рулевая...

Первые слезы. Желтые дали.
Бедные клещи, вы отгуляли...
Что с вами сделают в черной разлуке
белые вьюги, белые вьюги?

Донор дыхания

Так спасают автогонщиков.
 Врач случайная, не ждавши «скорой помощи»,
 с силой в легкие вдувает кислород —
 рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя —
 без посредников, как жрица мясоедная,
 рот в рот,
 не сestroю, а женою милосердия
 душу всю ему до донышка дает —
 рот в рот,
 одновременно массируя предсердие.

Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
 Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
 Из ребра когда-то созданный товарищ,
 она вас из дыханья создает.

А в ушах звенит, как соло ксилофона,
 мозг изъеден углекислотою.
 А везти его до Кировских ворот!
 (Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)
 Синий взгляд как пробка вылетит из-под
 век, и легкие вздохнут, как шар летательный.
 Преодолевается летальный
 исход...

«Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный.
 Пусть в глазах твоих
 мной вдутый небосвод.
 Пусть отдашь мое дыхание кому-то
 рот — в рот...»

1970

Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна.
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.

Поезжай, ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.

Ода дубу

Святязианские восходы.
Поблескивает изречение:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись лиственным и пламенно, —
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирное значенье!»

Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
Априори:
екатерининские березы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и. о. лосося,
оса, желтая как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,

исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дорогу
великую.

Как Рембрандты, живут по описи
35 волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы — двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый,
между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.

Свет друга

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германна все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.
Судьба, береги его в пути.

1979

I. Он

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волосы твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
намотает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты паматывала
свои царские до пят
в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
усмехается как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встает
горестная артиллерия —
ангел черный, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да как же там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

II. Она

Волосы до полу, черная масть —
мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь —
дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь».

«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать».

«Я — его первая женщина, вернулся до ласки охоч,
дочь».

«Он — мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..»

.....
«Это о смерти его телеграмма,
мама!..»

В этом доме ремонт завели.
На вошедшего глянут с дивана
две войны, две сестры по любви,
два его сумасшедших романа.

Та в смятение подастся к тебе.
А другая глядит не мигая —
запрокинутая на стене
ее малая тень золотая.

У нее молодые — как смоль.
У нее до колен — золотые.
Вся до пяток — презрение и боль.
Вся любовь от ступней до затылка.

Что-то будет? Гадай не гадай...
И опять ты влюблен и повинен.
Перед ними стоит негодяй.
Мы его в этой позе покинем.

Потому что ремонт завели,
перекладываются паркеты.
И сейчас заметут маляры
два квадратных следа от портрета.

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волшебба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта»,
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

Приснись! Припомни, бога ради,
ту дрожь влюбленную в себе —
как проступает в Ленинграде
серебрянейший СПб.

Свищет всенощною сонатой
между кухонь, бензина, щей
сантехнический озонатор,
переделкинский соловей.

Ах, пичуга микроскопический,
бьет, бичует, все гнет свое,
не лирически — гигиенически,
чтоб вы выжили, дурачье.

Отключи зажиганье, собственник.
Стекла пыльные опусти.
Побледней от внезапной совести,
кислорода и красоты.

Что поет он? Как лошадь пасется,
и к земле из тела ея
августейшая шея льется —
тайной жизни земной струя.

Ну, а шея другой — лимонна,
мордой воткнутая в луга,
как плачевного граммофона
изгибающаяся труба.

Ты на зиму в края лазоревы
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано,
лишь на родине ты поешь.

Показав в радиольной лапке
музыкальные коготки,
на тебя от восторга слабнут
переделкинские коты.

Кто же тронул тебя берданкой?
Тебе Африки не видать.
Замотаешься в шарфик пернатый,
попытаешь перезимовать.

Ах, зимою застынут фарфором
шесть кистей рябины в снегу,
точно чашечки перевернутые,
темно-огненные внизу...

Как же выжил ты, мой зимовщик,
песни мерзнущий крепостной?
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик,
голос, тронутый хрипотцой!

Бездыханные перерывы
между приступами любви.
Невозможные переливы,
убиенные соловьи.

В. Шкловскому

122 А. Вознесенский

— Мама, кто там сверху, голенастенький —
руки в стороны — и парит?

— Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

Над темной, молчаливою державой
какое одиночество парить!
Завидую тебе, орел двуглавый,
ты можешь сам с собой поговорить.

Мы обручились временем с тобой,
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают.
Они согреты милою рукой.

Отчего в наклонившихся ивах —
ведь не только же от воды, —
как в волшебных диапозитивах,
света плавающие следы?

Отчего дожидаюсь, поверя, —
ведь не только же до звезды, —
посвящаемый в эти деревья,
в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником, —
ведь не только же от любви —
благовещеньем дышат, багульником
золотые наклоны твои?

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).
У Джоконды улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.
Нищий любит сберкнижки
коллекционировать!
Миров — как песчинок в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги имеют слабости.
Славный хочет бесславности.
Бесславный хлопочет: «Ой бы,
мне бы такое хобби!»

Боги желают кесарева,
кесарю нужно Богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

Боги имеют бакп —
висят на башке пускай,
как ручка под верхним баком,
воду чтобы спускать.
Не дергайте их, однако.

Но что-то ведь есть в основе?
Зачем в золотом ознобе
ниспосланное с высот
аистовое хобби
женскую душу жмет?

У Бога ответов много,
но главный: «Идите к Богу!»

...Боги имеют хобби —
уставши миры вращать,
с лейкой, в садовой робе
фиалки выращивать!

А фиалки имеют хобби
выращивать в людях грусть.
Мужчины стыдятся скорби,
поэтому отшучусь.

«Зачем вас распяли, дядя?!»
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь
подглядывать
в дырочку от гвоздя».

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

Б. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий завет.
Яблоко съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осужден мелюзгой
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась
с белым голосом в темное время.
Даже если Земля наша — грязь,
рождество твоё — ей искупленье.

Был мой стих, как фундамент, тяжёл,
чтобы ты невесомела в звуке.
Я красивейшую из жен
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!
Мне казалось, что жизнь — это лишь
певчей силы заложник.

И победа была весела.
И достигнет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.

Ошибаясь в этой жизни дотла,
улыбнусь: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

1972

— Я медлила, включивши зажиганье.
Куда поехать? Ночь была шикарна.
Дрожал капот, как нервная борзая.
Дрожало тело. Ночь зажгла вокзалы.
Все нетерпенье возраста Бальзака
меня сквозь кожу пузырьками жгло —
шампанский возраст с примесью бальзама!

Я опустила левое стекло.

И подошли два юные Делона —
в манто из норки, шеи оголены.
«Свободны, мисс? Расслабиться не прочь?
Пятьсот за вечер, тысячу — за ночь».

Я вспыхнула. Меня как проститутку
восприняли! А сердце билось жутко:
тебя хотят, ты — блядь, ты молода!
Я возмутилась. Я сказала: «Да».

Другой добавил, бедрами покачивая,
потупив голубую непорочь:
«Вдруг есть подруга, как и вы — богачка?
Беру я также — тысячу за ночь».

Ах, сволочи! Продажные исчадья!
Обдав их глазом, я умчалась прочь.
А сердце билось от тоски и счастья!
«Пятьсот за вечер, тысячу — за ночь».

Айда, пушкинианочка,
по годы, как по ягоды!
На голос, на приманочку,
они пойдут подглядывать,

из-под листочков машучи.
Бродяжка и божок,
продуешь, как рюмашку,
серебряный рожок.

И выглянут парижи
малинкой черепичной —
туманные, капризные
головки красных спичек!

Как ядовито рядом
припрятаны кармины.
До черта волчьих ягод,
какими нас кормили.

Все, поздно, поздно, поздно.
Кроме твоей свирельки,
нарядны все, но постны,
и жаль, что не смертельны!

Поляны заминированы,
и все как понарошке.
До черта земляники —
но хочется морошки!

Мы стали друзьями. Я не ревную.
Живешь ты в художнической мансарде.
К тебе приведу я скрипачку ночную.

Ты нам на диване постелешь. «До завтра, —
нам бросишь небрежно. — Располагайтесь!»
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И все не уходишь. А глаз твой агатист.
А гостья почувствовала, примолкла.
И долго еще твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая — на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо.
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай, — говорю, — мое небо, и не по-
нимаю, как с гостьей тебя я мешаю.
Дай Бог тебе выжить, сестренка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо.

Скука — это пост души,
когда жизненные соки
помышляют о высоком.
Искушеньем не греши.

Скука — это пост души,
это одинокий ужин,
скучны вражьи кутежи,
и товарищ вдвое скучен.

Врет искусство, мысль скудна.
Скучно рифмочек настырных.
И любимая скучна,
словно гладь по-монастырски.

Скука — кладбище души,
ни печали, ни восторга,
все трефовые тузы
распускаются в шестерки.

Скукотища, скукота...
Скука создавала Кука,
край любезнейший когда
опротивеет, как сука!

Пост великий на душе.
Скучно зрителей кишевших.
Все духовное уже
отдыхает, как кишечник.

Ах, какой ты был гурман!
Боль примешивал, как соус,
в очарованный роман,
аж посасывала совесть...

Хохмой вывернуть тоску?
Может, кто откусит ухо?
Ку-ку!
Скука.

Помесь скуки мировой
с нашей скукой полосатой.
Плюнешь в зеркало — плевок
не достигнет адресата.

Скучно через полпрыжка
потолок достать рукою.
Скучно, свиснув с потолка,
не достать паркет ногою.

Я в академики есмь избран.
«Год дэм!» —
скажу я, боже мой,
всю жизнь борюсь с академизмом.
Теперь борюсь
с самим собой.

Пасата

Купаться в шторм запрещено.
Заплывшему — не возвратиться.
Волны накатное бревно
расплющит бедного артиста!

Но среди бешеных валов
есть тихая волна — пасата,
как среди грома каблуков
стопа неслышная босая.

Тебя от берега влечет
не удаляя бесшабашность,
а ужасающий расчет —
в открытом море безопасней.

Артист, над мировой волной
ты носишься от жизни к смерти,
как ограниченный дугой
латунный сгорбленный рейсфедер!

Но слышит зоркая спина
среди безвыходного сальто,
как зарождается волна
с протяжным именем — пасата.

«Пасата,
возвращающая волна, пасата,
запретны мои заплывы, но хлынула тишина
возврата,

я обожаю воду —
но что она без земли?
Пустая!

Я обожаю свободу —
но что она без любви,
пасата!

Неси меня, пока носишь,
оставишь на берегу —
будь свята!

Я встану
и, пошатываясь,
тебя поблагодарю,
но ты растворишься в море,
не поглядев,
пасата...»

Признаю искусство
и «Полет валькирий»,
но люблю кукушку
и Ростов Великий.

Жду за кинофабрикой
еле-еле-еле
звон ионафановский
и полнелейный.

Не само искусство,
а перед искусством
схожее с испугом
праздничное чувство.

Перед каждым новым
вам не шелохнуться.
Между каждым словом —
с жизнью расстаются!

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и лички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать поведено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляничковые бока...
Даже я не умею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

Разговор с эпиграфом

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский

Владимир Владимирович,
разрешите представиться!
Я занимаюсь биологией стиха.
Есть роли
более пьедестальные,
но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло,
кто занят садом, кто содокладом.
Другие, как страусы,
прячут головы,
отсюда смотрят и мыслят задом.

Среди идиотств, суеты, навостов
поэт одиозен, порой смешон —
пока не требует поэта
к священной жертве
Стадион!

И когда мы выходим на стадионы в Томске
или на рижские Лужники,
Вас понимающие потомки
тянутся к завтрашним
сквозь стихи.

Колоссальнейшая эпоха!
Ходят на поэзию, как в душ Шарко.
Даже герон поэмы «Плохо!»
требуют сложить о них «Хорошо!».

Вам вгрызались в ляжки жаровы.
Всё расставлено уже,
а что до Жарова — то жаль его —
Вы на «М», а он на «Ж».

Вы ушли,
понимаемы процентов на десять.
Оставались Асеев и Пастернак.
Но мы не уйдем —
как бы кто ни надеялся! —
мы будем драться за молодняк.

Как я тоскую о поэтическом сыне
класса «Ту» и «707-Боинга»...
Мы научили
свистать
пол-России.
Дай одного
соловья-разбойника!..

И когда этот случай счастливый представится,
отобью телеграммку, обкусав заусенцы:
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РАЗРЕШИТЕ ПРЕСТАВИТЬСЯ —
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Песня о Мейерхольде

А. Шнитке

Где Ваша могила — хотя бы холм, —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд?

Зрители в бушлатах дымят махрой —
ставит Революцию Мейерхольд.

Радость открывающий мореход —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Профильным, провидческим плоск лицом —
сплюснен историческим колесом.

Ставили «Отелло». Реквизит —
на зеленой сцене платок лежит.

Яго ухмыляется под хмельком:
«Снова мерихлундии, Мейерхольд?!»

Скомканный платочек — от слез сырой...
Всеволод... Эмильевич... Мейерхольд...

На рынке полно картин,
все с лебедями и радугами.
А Ванька-авангардист
все кубиками-квадратиками!

Рынок — Малые Лужники.
Слева в фартуках мужики.
Справа сборная команда —
бабы в брюках и помадах.
Справа сумки, слева гири,
справа шутки, слева сбили!

Справа — твисты и зарплаты,
слева — избы и закаты,
слева — «Волги», справа — «Волги»,
слева — к водке, справа — к водке.
Вавилон из-за томата.
Бабка, попроси тайм-аута!

А Ванька-авангардист
подзуживает, подсуживает
в разбойный судейский свист
свистульки из глины посудной!
Глотает валокордин
профессор в рубашке с напуском.

А Ванька-авангардист
все целит прищуром снайперским.
Он знает неомещан
сберкнижные аппетиты,
юродивый коммерсант,
антихрист нового типа.

Клеенщица-конкуренщица:
«Ты докарикатурекаешься!

Сам в треугольник скорчишься,
попей рассол огуречный...»
А он ей: «Цыц, лакировщица!»

Липучий мушиный лист
с Аленушкой.
Клееночный реализм
и модернизм клееночный.

Английской булавкой блестят
связки сушеных рыбок.
Нацелен сопливый взгляд.
Он завоюет рынок.

Все куплено, куплено, куплено,
выскреблены раструбы.
Толпа — как цыплята под куполом
внимательным, как ястреб.

Продает папаша дочку,
дочка продает папашу,
и друзья, упившись в доску,
тащат друга на продажу.
Весны продаются летом,
продается муж надкусанный,
критик продает поэта.
Оба продают искусство.

А Ванька-авангардист
трамбует деньжата в кадушку.
В тоскливую ночь зародил
тебя твой отец контуженый.
Тоскливая ночь любви
пронзала до позвоночника.
Тоскливы лубки твои,
как пьяная поножовщина!

...Пацанка-хромоножка
играет на гармошке.
И рученьки фарфоровые
засупуты в меха,
как руки у фотографа
в таинственный рукав.

Сквозь лобик невозможный
в нахмуренном уме
танцующие ножки
просвечивают мне.

Сидит, как чертик с рожками,
на затылке с ножками.

С закрытыми глазами
индийский колдунок,
витают над базаром
виденье лунных ног.

«Ах, белые наливки
продались за рубли,
ах, бедные напвы
надежды и любви...»

А Ванька-авангардист:
«Станцуем, — дразнит, — хромая!»
Он мучит ее, садист,
как совесть свою ромашковую.
А вчера, чтоб ее не кадрил,
избил в туалете карманника.

Отец, мы видимся все реже-реже,
в годок — разок.
А Каспий усыхает в побережье
и скоро станет —
как сухой морской конек.

Ты дал мне жизнь.
Теперь спасаешь Каспий,
как я бы заболел когда-нибудь.
Всплывают рыбы
с глазками как капсуль.
Наверное,
возможное лекарство —
в них воды Севера
вдохнуть!

Но как помочь земле,
не погубивши реки?
Глядит предсмертный лес, ответчик и истец.
Ответственность лежит на тихом человеке.
И воды будут жить, пока ты жив, отец.

И все мои конфликтные смуты —
«конфликт на час»
перед этой, папа,
тихою минутой,
которой ты измучился сейчас.

Поможешь маме вытирать тарелки...
Сам думаешь: а) море на мели,
б) повернувшись, северные реки
изменяют вдруг вращение
Земли?

в) как бы древних льдов не растопили...
Тогда вопрос:
не «сколько ангелов на конце иголки?», но —
«сколько человечества уместится
на шпиле
Эмпайр Билдинг
и Останкино?»

В скольжение юзом — специфичность.
 Но все-таки я повернул.
 На полной скорости вцепившись
 не в руль — а в абсолютный нуль.

И мне навстречу из Калуги
 летели в отблеске луны
 в рули вцепившиеся люди —
 как в абсолютные нули.

Расчищу Твои снегопады,
дорожку пробью к гаражу.
По белоцерковному саду
машину свою вывожу.

Тебя соскребаю с асфальта,
весь полон минутою той,
когда Ты повалишься свято
меня засорять чистотой.

Такое покойное поле —
как если чернилами строк
я ночью бумагу заполню,
а утром он — белый, листок.

Но к черту веселой лопатой
счищаю Твою чистоту,
чтоб было Тебе не повадно
вторгаться в ту жизнь, что веду.

Не нужно чужого мне Бога,
я праздную темный мятеж.
Черна и просторна дорога,
свободная от небес!

Мой путь все вольней и дурнее.
Упрямо мое ремесло...
Приеду — остолбенею —
все снова Тобою бело.

Пролог и I-е действие

Шесть церквей повычищали под метелку.

Шесть овчарок повели по алтарям.

Сколько?

Сколько?

Сколько?

Весь урон не сосчитать колоколам.

Сколько, сколько, сколько

разворовано веков по простоте?

Скорбно вместо Сергия и Ольги

ставим свечи мы безликой пустоте.

«Всем, всем — колокольни-балаболки! —

Воры взяты и суду дают ответ».

— Сколько?

Сколько?

Сколько?

— Шесть, семь, восемь лет.

Все иконы по местам вернулись, найдены,

кто в киот, кто в красный угол, кто в ларец.

Лишь одна не вернулась —

Богоматерь

Утешительница Сердец.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ РОЗЫСК:

«Богоматерь Утешительница Сердец.

Лик розов.

Из особых примет:

лишены слезников византийские

нарисованные глаза,

потому и в глазах разыскиваемой

не задерживается слеза.

Льются слезы за ней по пятам».

Овчарки ведут по слезам.

Пролог-посвящение

Где ты шествуешь, Утешительница,
утешающая сердца?

На великих всемирных Тишинках
кто торгует Тебя у слепца
среди плача и матерщины?

Под Москвою, Сургою, Уфою,
на шоссе, прижимая дитя,
голосующею рукою
осеяешь не взявших Тебя.
Утешенья им шлешь и покоя.

Утешение блудному сыну,
утешенье безвинной вине,
утешенье злобе ненасытной,
утешения нужно земле.

Сквозь пожар торфяной Подмосковья
шли
безумные толпы коровьи
без копыт, как по сковородке —
шли —
Ты от дыма в слезах и любви
их хлестала, чтоб добрелі!

Все другие — Твои филиалы.
Не унижусь до пошлых диалогов
с домоуправом или статьей —
знаю только диалог с Тобой.
Ну их к дьяволу!

Волк мочой отмечает владенья.
А олень окропляет — слезой,
преклоня копыта в волненье
перед травами каждый сезон.

Ты прости, что не смею в поэме
вновь назвать Твоих главных имен.
Край твой слезами обнесен.
Я стою пред Тобой на коленях.

ХОР:

Овчарки ведут по слезам.
Кто плачет за дверью? Сезам.

Картина 1-я

Лоллобриджиде надоело быть снимаемой.
Лоллобриджиде прилетела вас снимать.
Бьет Переделкино колоколами
На Благовещенье и Божью Мать!

Она снимает автора, молоденькая
фотография. Автор припадет
к кольцу с дохристианскою эротикой,
где женщина берет запретный плод.

Благослови, Лоллобриджиде, мой порог.
Пустая слава, улучив предлог,
окинь мой кров, нацель аппаратуру!
Поэт — полу-Букашкин, полу-Бог.

Благослови, благослови, благослови.
Звезда погасла — и погасли вы.
Летуныя — слава, в шубке баснословной,
как тяжки чемоданища твои!

«Зачем ты вразумил меня, Господь,
несбыточный ворочать гороскоп,
подставил душу страшным телескопам,
окольцевал мой палец безымянный
египетской пиявкой любви?
Я рождена для дома и семьи».

За кладбищем в честь гала-божества
бьют патриаршие колокола.
«Простоволосая Лоллобриджиде,
я никогда счастливой не была».

Как чай откусать с блюда хорошо!
Как страшно изогнуться в колесо,
где означает женщина начало,
и ею же кончается кольцо.

ХОР:

Но поздно. Пора по домам.
Овчарки ведут по слезам.

Картина 2-я

Моя бабушка, Мария Андревна,
Баба Маня,
проживаешь ты в век модерна
над Елоховскими куполами.

Молодая Мария Андревна
была статная — впрямь царевна.
А когда судьба поджимала,
губки ниточкой поджимала.

Девяносто четыре года.
Ты прости мне, что есть плохого.
Бок твой сказывается к погоде.
И все хуже она, погода.

Но когда под пасхальным снегом
патриархи идут вокруг храма,
то возносят глаза не к небу —
а к твоей чудотворной раме,
где тайком через тюль подсматривает
силуэт в золотом тумане,
уже с той стороны бумаги —
Баба Маня...

Картина 3-я

«Покажите мне сына!
Не вводите вакцину,
дайте матери сына...»

Через стены роддома,
где не вхожи мужчщины,
слышу шепот мадонн:
«Покажите мне сына!»

«Приземлился, мой родный.
Как купол погас,
мой живот парашютный...
Высота тошнотую отозвалась.
Покажите, прошу вас..

Покажите мне сына!»
 «Сри!» — сиделка просила.
 В склянке у изголовья
 роза с белым бутоном,
 как с младенцем мадонна
 пеленалась с любовью.

Так пойдет до кончины —
 «Покажите мне сына!
 Мой пропащий багажик...
 Расступитесь, осины,
 и Голгофы и стражи —
 он еще вам покажет!»

Кто пророка носила,
 видит дальше пророка,
 он ей сын беспокойный...
 «Покажите мне сына!
 Как опасна дорога...
 Богу надо быть двойней».

ХОР:
 Уборщица, моя вокзалы,
 в ночном отразилась ведре —
 как в нимбе себя увидала.
 Но в том не призналась себе.

Картина 4-я

Реви, Ольга Корбут, по всем телевизорам!
 Будь только собой.
 Спортивных правителей терроризируют
 косички запретною запятой.

Пусть нищие духом сдадутся блаженно.
 Великие духом ревут в три ручья.
 Будь личность в прожекторном пораженье,
 а если ты личность — победа твоя.

Тебе запретили смертельные брусья.
 Почуяв, как в Лондоне худо одной,
 бобры и медведи твоей Белоруссии
 рыдают с тобой!

Увы, еретички-косички ледащие!
 Ты наша запретная слава летящая!

Таких мы не знали среди чемпионов, —
лисичка лесная среди шампиньонов.

(Того перерезало финишной ленточкой,
как ниткой натянутой режется хлеб,
и верхняя часть его под аплодисменты,
как бюст, установлена в клуб или склеп.)

Лети, еретичка, вне схем Менделеева,
не для печати, не для литавр.
Не запрещайте — это смертельно! —
не запрещайте Ольге летать.

В нас, в каждом есть Бог —
это стоило выстрадать.
Пусть в панике мир от попытки второй.
Так что же есть Истина?
Это есть искренность!
Быть только собой!

На русском, арабском или санскрите
не врите, не врите, не врите!

Не делайте вида, не прячьтесь в стандарты,
завидуйте, плачьте, страдайте.

Себе, в стенгазете или кульбите
не врите — ревнуйте, любите,

но Бога в себе не предайте из прыти.
Не врите, не врите, не врите...

Да сгинет лукавое самозванство!
Она проиграла? Она бессмертна.

Занавес

*Продолжительные свистки и аплодисменты,
переходящие в буфет. Антракт. Свет.*

ПУБЛИКА (*гуляя по фойе и холлам, хором*):

— Уверен, что Она окажется героиней труда.
— Вот мисс Трюдо — это да!
— Про Даму пик я читала в одной книге...
— Трефы — это похудевшие пики,
вернее, их скелет.

- А ск. лет.
- Лоллобриджиде?
- Не брешите!
- Значит, пики — это трефы в положении?
- Имейте уважение
- к идеалу высокому!
- Видали Гамлета в роли Высоцкого?
- Как королеве удалась Демидова! —
- Товарищ из МИДа товарищу из ТАССа:*
- Влияние Хиндемита
- на Торквато Тассо.
- Главное — не находить, а искать.
- Ишь, гад!
- Деньги за билеты назад
- выдаются не в буфете, а через кассу!
- Экстазу!
- За модерн!
- Вон автор. Ну и мордень!..

АВТОР:

Весьма тронут
(*спутнице*), слышь, все говорят, я
как Монтень.

ХРОМОСОМОВ:

Есть 2 ампиные Христа.
Отдам за 33 хруста.
Плюс супница-паяда
с сюжетами рая и ада за ту же цену...

АВТОР:

Мне надо на сцену.

ХРИСТОРАНОВ

(*жуя*): А что у нас на второе?

РЕЖИССЕР:

Дама трэф и дальняя дорога.
(*Хромосомова уводит.*)

Молитва мастера

(Надпись на обратной стороне доски)

Благослови, Господь, мои труды.
Я создал Вещь, шатаемый любовью,
не из души и плоти — из судьбы.

Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть
и осенью себя стихом трехперстым.
Мои труды благослови, Господь!

Через плечо соль брошу на восход.
(Двуперстие же, как держат папироску,
боярыня Морозова взовьет!)

С побудкою архангельской трубы
не я, пусть Вещь восстанет из трухи.
Благослови, Господь, мои труды.

Твой суд приму — хоть голову руби,
разбей семью — да будет по сему.
Господь, благослови мои труды.

Уходит в люди дочь моя и плоть,
ее Тебе я отдаю как зятю, —
Искусства непорочное зачатие —

Пусть позабудет, как меня зовут.
Сын мой и господин ее любви,
ревную я к Тебе и ненавижу.
Мои труды, Господь, благослови.

Исправь людей. Чтоб не были грубы,
чтоб жемчугов ее не затоптали.
Обереги, Господь, мои труды.

А против Бога встанет на дыбы —
убей создателя, не погуби Созданье.
Благослови, Господь, Твои труды.

II Действие

Действующие лики и исполнители:

тов. ХРИСТОРАНОВ, и. о. домоуправа,
о. ВАРАВВА,
и. о. предместкома,
гр. МИСС ИКОНА,
гр-не ХРОМОСОМОВ,
ХОРКОЕЗОНОВ,
ХРОМОНОСОВ и др.

Св. Сестра
СВ «Красная Стрела»

Картина 1-я

Комната. Сцена открывается нам как бы с точки зрения Иконы, спрятанной под половицами. Мы видим как бы план комнаты, вид всех вещей снизу. Икона лежит навзничь, она ясновидящая, поэтому пол для нее прозрачен. Нам открывается мир, как сквозь стеклянные полы-потолки на заводе Форда.

Мы видим подошвы. Их много. Они — как листья кувшинок на воде. На всех подковки. Желательно, чтобы актрисы играли в брюках. Все предметы обстановки тоже в плане, снизу.

Стол с квадратными ножками похож снизу на четверку бубен.

Дно кровати — тоже как карта. К дну ее снизу, как джокер, в замерзшей позе прилип любовник или детектив. Это Христоранов. Он боится пошевелиться. Рядом лежит забытая хозяевами пыльная книга. Но читать он не решает. Он, как Атлант, держит на спине семейное благополучие.

Торшер снизу — как пол-абрикоса с косточкой.

В центре гостиной ковер. Парит, как ковер-самолет, изнанкой к нам. Что происходит на ковре, мы не видим. Под ковер лицом к нам подсунута дама треш.

Сквозь рогожку изнанки ковра угрожающе проступает красное пятно. Что это — вино? Кровь? Мы не знаем.

О, мир снизу, красивый и таинственный, как елка с подвешенными игрушками!

Под полоской двери (а для нас — на полоске), как на светлой школьной линейке, лежит подсунутая повестка вызова в милицию.

РЕЖИССЕР (с дамой треш в руках):

Карта, лживая царевна

с человеческой красотой —

как до пояса спрена,

отраженная водой, —

очаруй мою поэму

речью сладко-роковой:

«Гость. Разлука. Разговор».

Картина 2-я

Другая комната. Домоуправление. Интерьер в стиле НТР. Идет беседа с Христорановым.

Его подошвы — черные, резиновые, прямоугольные, подбитые белыми гвоздями, как фишки домино.

У всех героев теней нет, какая же тень на прозрачном полу?

Но от Христоранова падает четкая тень. Она похожа на закругленные маникюрные ножницы. Судя по тени, Христоранов кривоног, низкоросл, стоит — руки в боки.

Слева над столом волевые подметки домоуправа.

Справа — о. Варавва. Он в белых тапочках.

ХРИСТОРАНОВ:

Гражданин домоуправитель,

зачем так круто?

Скажу как единомышленнику-атеисту,

по-вашему мы — «банда»,

по-нашему — «бит-группа»

иконоборцев-активистов!

о. ВАРАВВА:

О, нравы!..

ХИРОСИМОВ:

В век космонавтики...

ДОМОУПРАВ:

Конкретней, о Богоматери...

ХРОМОСОМОВ:

У Цар. Врат мы сверили

наши «сейки»,

мы работали в ритме

шейка.

Но тут ищейки —

как при сдаче ГТО.

Вы мне Утешительницу

не шейте!..

ДОМОУПРАВ:

А кто?

ХОРКОБЗОНОВ (поет):

Переберем

участников

ансамбля.

«Ху из ху?»

Как на духу.

а) Храмоломов.

Разряд по самбо.

Не тот умок,

не мог.

б) Бр. Хмырясовы —

Валентин «Валюта» из Арх. ин-та,

Меньшой «Малюта».

Арон и Араб-Оглы —

не могли.

Мальки!

в) Эдик — «Эдипов комплекс».

Не мог. Честный хлопец.

о. ВАРАВВА:

О, нравы...

ХРОНОЛОГОВ:

г) Хорошобыв. 2-й разряд.

Собрал на заводе боевой
автомат.

Отбыл срок,
следовательно...

ДОМОУПРАВ:

Намек?

ХУСАИНОВ:

Следовательно, не мог.

Слишком ценный.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ:

На работе я товарищ,
до шести
посотворяешь.

От шести я

гражданин

(Уголовный кодекс,
пункт I).

о. ВАРАВВА:

Вы правы.

Аз

за КамАЗ.

ХИТРОШЕПОТОВ:

Вкалывай, энтузиаст,
как сказал Екклесиаст.

о. ВАРАВВА:

Браво!

А в Катехизисе

есть об энергокризисе:

«Люди не сведущи, хоть и хитры».

Раньше синтезировали икру
из нефти.

Пора получить бы нефть из икры.

ХРОМОСАПОЖКОВ *(продолжает)*:

д) Филиппов Жерар.

Не мог. Хоть бы и желал.

Есть признак...

ДОМОУПРАВ (*зевая*):

Кто ж? Может быть, призрак?

(*Появляется ПРИЗРАК.*)

ПРИЗРАК:

Вызывали?

(*Те же и он.*)

ХРИЗАНТЕМОВ (*вздыхая*):

ТэЖэ. Тройной одеколон.

ПРИЗРАК:

Клад вмурован в 3-й неф,

где сегодня здание СЭВ.

Прикупайте к даме трэф!

о. ВАРАВВА:

О, нравы... (*Засыпает.*)

(*ПРИЗРАК смущенно растворяется.*

Дверь растворяется,

и в скрипе

входят ХИППИ.)

ХОР ХИППИ:

Мы — загадка для таможни.

Кило волос — и ничего еще.

На нас такие клеши, что их можно
закидывать, как плащ, через плечо!

Хоть мы провозим ежегодно

таблетки и гашиш-сырец,

и опиум (для народа),

мы непричастные к уходу

Утешительницы Сердец!

(*Входят ВОДИТЕЛИ.*)

ВОДИТЕЛИ:

Мы — водители.

Мы видели!

Мы видели!

Голосует она у метро «Варшавская».

Села сзади — ну, думаю, красавица!

Гляжу в зеркальце — не отражается,
оборачиваюсь — сидит, не выражается.

Гляжу в зеркальце — не отражается,
говорю — «дверцу закройте, пожалуйста»,
гляжу в зеркальце — не отражается...

Тут у меня несправедливо отбирают права.

ДОМОУПРАВ:

Милиция всегда права.

ВОДИТЕЛИ:

Ах, «права»? Ну тогда и ищите сами.

Уйдем, Саня!

Уйдем, Сева!

Кому в район СЭВа?

Говорит, не перестроился вправо я,
и зеркальце, говорит — неисправное.

Мы — водители,

мы — не видели...

Нам пора в ГАИ...

ХРИСТОРАНОВ:

Эти не могли.

Мелки.

Таксисты!

(Решается.) Срок скостите?

Добавлю, но не для протокола.

Было у нас вроде прокола.

Особа жен. пола. Влипли —
во!

Иконостасья Филиппова.

По кличке «Мисс Икона» —

бедра узкие, плечи —

законные!

По-вашему «главарша»,

по-нашему

«администратор», —

холодная и гибкая, как хлыст для стада.

Глаза без слезы. Золотая мгла.

(Восхищенно.)

Эта — могла.

о. ВАРАВВА *(спросонок)*:

Облава!

Песня за сценой

Как у лодки восьмивесельной
волевая рулевая.

У нее, двадцативесенной,
дисциплинка пулевая!

Как у гоночной регаты —

три зачетные воды,
 так у жизни нелегальной
 три лукавые беды.
 Это первая вода —
 все осталось без следа.
 А вторая вода —
 непроглядна темнота.
 Ну, а третья вода —
 она красная всегда.

Картина 3-я
(Те же и не те же)

ХОРОМ:

Круговой порукою общая подруга —
 девочка по кругу, девочка по кругу!

«Ну и жмурки! Это Эдик или Витя?
 Ты, Валюта — Валентиночек в миру?!
 Вы сестру свою покрепче обнимите,
 я ко всем сейчас от нежности умру!

Не при свечках, а при плачущих лучинах
 из смолящихся нащепленных икон...
 Я вас всех собою обручила,
 всех сплела возлюбленным венком!

От рождения глаза мои сухие,
 ни опасность, ни разгул не помогли.
 Помогите, помогите, дорогие,
 разрыдаться мне от боли и любви!

Валентиночек, ты что, уже кемарить?
 Все как плачу, да не выплачусь до дна...»
 «Мне все видится, Настасья, Богоматерь —
 доску взял, а из глазниц Ея — вода...»

«Ставь к стене ее, паскуду ненавистную.
 Я соперницу навывлет прострелю!»
 Выстрел.
 Что за женщина убита на полу?
 Что за бабу в морге эксперты обследуют?

Кто убийцей припечатался к зрачкам?
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
 Овчарки ведут по слезам.

Р. С.
 Обижаться, читатель, не следует
 на оборванный мой зачин.
 Ведь и жизнь — «продолжение следует» —
 только нам не узнать — зачем?

III Действие

Явление 1

Я ограбил братьев и Лавру.
 Я преступно владею Тобой.
 На такси, как красивую лярву,
 я отвез Тебя в дом под Москвой.

Опусти занавесок тенета,
 не включаю огня впопыхах.
 Как стремительно лик Твой темнеет
 в моих наглых руках!

Знаю — краски темнеют от времени.
 И процесс их необратим.
 Ты от нас удаляешься в темень.
 Скоро мы Тебя не разглядим.

Понимаю я, тем не менее,
 ни при чем живописца письмо —
 если лик Твой темнеет от времени,
 то преступно время само.

На музейных стенах и семейных
 окисляешься взглядом толпы...
 Может, это не лик Твой темнеет,
 а становятся люди слепы?

До того как я стал аферистом,
 был мой взор и дух просветлен.
 И рублевские Три Арфиста —
 как три арфы! — струились в нем...
 Честолюбец, в слепом паскудстве,

с вечных плеч срываю парчу.
Я за каждую эту секунду
10 лет получу.

За коляской следя милицейскою,
я стою на крыльце.
И семь слез — как Большая Медведица
на Твоем непроглядном лице.

Режиссерские ремарки о жанре поэмы

Кто-то поздри раздует в полемике:
«Пахнет жареным!»
Детектив обернулся поэмой?
Пахнет жанром.

Пусть я выверну жизнь нанзанку,
но идея поэмы проста.
— Что ты ищешь, художник? — Не знаю.
Назовем ее — Красота.

Это света взметенное знамя,
это светлая мука с креста.
— Как зовут тебя, Муза? — Не знаю.
Назовем ее — Красота.

Отстоявши полночные смены,
не попавши в священный реестр,
вы, читательница поэмы,
может, вы героиня и есть?

Просветлев от забот ежегодных,
отстояла очередь.
И в Москву прилетела Джоконда,
чтоб секунду взглянуть на Тебя.

Но едва за тобою проследую,
растворяешься в улицах ты...
Жизнь моя — продолжение следует.
И на встречах — след Красоты.

Я 41-я на Плисецкую,
26-я на пледы чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятой, станет десятой,
Борисова станет Мусатовой,
я 16-я к главному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборт
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали
(меня родили — и записали),
я уже 1000-я на автомобиле
(меня записали — потом родили),
что дают? кому давать?
А еще мать!
Я 45-я за тридцать пятыми,
а Вы с ребенком, чего тут плятись?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.
А Вы с ребенком — и не надейтесь!
Не Вы, а я — 1-я на среду,
а Вы — первая куда следует...
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Соблазн

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслопивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непонимание с тобою
перед будущим непониманием
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Божий замысел я искажил,
жизнь сгубив в муравейне.
Значит, в замысле не было сил.
Откровенье — за откровенье.

Остается благодарить.
Обвинять Тебя в слабых расчетах,
словно с женщиной счета сводить —
в этом есть недостойное что-то.

Я мечтал, закусив удила-с,
свести Америку и Россию.
Авантюра не удалась.
За попытку — спасибо.

Свел я американский расчет
и российскую грустную удадь.
Может, в будущем кто-то придет.
Будь с поэтом помягче, Сударь.

Бьет 12 годов, как часов,
над моей терпеливою нацией.
Есть апостольское число,
для России оно — двенадцать.

Восемьсот двенадцатый год —
даст ненастья иль крах династий?
Будет петь и рыдать народ.
И еще, и еще двенадцать.

Ясновидец это число
через век назовет поэмой,
потеряв имя свое.
Откровенье — за откровенье.

В том спасибо, что в Божий наш час
в ясном Болдине или в Равенне,
нам являясь, Ты требуешь с нас
откровенье за Откровенье.

За открытый с обрыва Твой лес
жить хочу и писать откровенно,
чтоб от месс, как от горних небес,
у больных закрывались каверны.

Оправдался мой жизненный срок,
может, тем, что, упав на колени,
в Твоей дочери я зажег
вольный свет откровенья.

Она вспомнила замысел Твой
и в рубашке, как тени Евангеля,
руки вытянув перед собой,
шла, шатаясь, в потемках в ванную.

Свет был животворящий такой,
аж звезда за окном окривела.
Этим я расквитался с Тобой.
Откровенье — за откровенье.

Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб»
ущелье дуло, как депо судеб.

Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли,
я уточнил бы — пузыри асфальта, —
нам попадаясь, клянчили на банку.

«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Я помнил. Удивленная лазурь
ее меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки,
ее бы мог писать Венецианов.

Спешила к сыну с сумками, полна
такую темно-золотою силой,
что женщины при приближеньи Аньки
мужей хватали, как при крике: «Танки!»
Но иногда на зов: «Официантка!» —
она душою оцепеневала,
как бы иные слыша позывные,
и, вострепнувшись, шла: «Спешу! Спешу!»

Я помнил Анечку-официантку,
что не меня, а друга целовала,
подружку вызывала, фарцевала
и в деревянном домике жила
(как раньше вся Россия, без удобств).

Спешила вечно к сыну. Сын однажды
ее встречал. На нас комплексовал.
К ней, как выюнок белесый, присосался.

Потом из кухни в зеркало следил
и делал вид, что учит «Песнь о Данко».

«Ты помнишь Анечку-официантку?
Ее убил из-за валюты сын.
Одна коса от Анечки осталась».

Так вот куда ты, милая, спешила!

«Он бил ее в постели, молотком,
вьюночек, малолетний сутенер, —
у друга на ветру блеснули зубы. —
Ее ассенизаторы нашли.
Ее нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной,
как грешница в аду. Старик, Шекспир...»

Она летела над ночной землей.
Она кричала: «Мальчик потерялся!»
Заглядывала форточкой в дома.
«Невинен он, — кричала, — я сама
ударилась! Сметана в холодильнике.
Проголодался? Мальчика не вижу!» —
И безнадежно отжимала жижу.

И с круглым люком мерзкая доска
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для Божьей чистоты!

«Ее пришел весь город хоронить.
Гадали — кто? Его подозревали.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
Но не назвал сообщников, дебил».
Сказал я другу: «Это ты убил».

Ты утонула в наших головах
меж новостей и скучных анекдотов.
Не существует рая или ада.

Ты стала мыслью. Кто же ты теперь
в той новой, ирреальной иерархии —
клочок Ничто? тычиночка тоски?

приливы беспокойства пред туманом?
Куда спешишь, гонимая причиной,
необъяснимой нам? зовешь куда?

Прости, что без нужды тебя тревожу.
В том океане, где отсчета нет,
ты вряд ли помнишь 30—40 лет,
субстанцию людей провинциальных
и на кольце свои инициалы?

Но вдруг ты смутно вспомнишь зовы эти
и на мгновение оцепеневаешь,
расслышав фразу на одной планете:
«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Гуляет ветер судеб, судебный ветер.

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах
стоком оскверненного пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

Человек — не в разгадке плазмы,
а в загадке соблазна.

Кто ушел соблазненный за реки,
так, что мир до сих пор в слезах, —
сбросив избы, как телогрейки,
с паклей вырванною в пазах?

Почему тебя областная
неказистая колея
не познанием соблазняя,
а непознанным увела?

Почему душа ночевала
с рощей, ждущей топора,
что дрожит, как в опочивальне
у возлюбленной зеркала?

Соблазненный землей нелегкой,
что нельзя назвать образцом,
я тебе не отвечу логикой,
просто выдохну: соблазнен.

Я Великую Грязь облазил,
и блатных, и свитую чернь,
их подсвечивала алмазно
соблазнительница-речь.

Почему же меня прельщают
Музы веры и лебеды,
у которых мрак за плечами
и еще черней — впереди?

Почему, побеждая разум —
гибель слаще, чем барыши, —
соблазнитель крестообразно
дал соблазн спасенья души?

Почему он в тоске тернистой
отвернулся от тех, кто любил,
чтоб распятого жест материнский
их собой, как детей, заслонил?

Среди ангелов-миллионов,
даже если жизнь не сбылась, —
соболезнуй несоблазненным.
Человека создал соблазн.

«Сестрица моя в женском вытрезвителе!
Обидели...»

Как при водолюбце Владимире Крестителе,
бабья революция воет в вытрезвителе.

Что там пририсовано на стене «Трем витязям»?
Полное раскрытие в вытрезвителе.

«Дома норму выдайте,
на работе выдайте,
только в вытрезвителе свобода от битья...
Муж придет, как выдоен.
Я не меньше выдую.
Станем себе сами братья и мужья».

«Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле.
Мы с тобой прозрели в ледяной купели.
Давай жить нарядно, словно две наяды,
купим нам фиалки,
поступим в институт.
Фабричные фискалки от зависти помрут».

«Русь, куда несешься ты, дай ответ?»
«Я рванула сослепу на красный свет».

«Бабоньки, завязываю! Слушайте таксистку.
Этак жить — тощица. На смех гаражу?!
Чтобы в рот взяла я
эту дрянь?
Спасибо.
Я хочу быть женщиной.
Мальчика рожу».

И сразу стало слышно каждое дыхание.
В белой палате —
такая тишина!
Ведь в каждой спит мадонна,
светла и осиянна,
словно тронул души кистью Тициан.

Завтра они выйдут на Преображенскую.
И у каждой будет Чудо на руках.
Будет, будет мальчик.
Будет счастье женское.
Даже если будет все не так.

Опять надстройка рождает базис.
Лифтер бормочет во сне Гельвеция.
Интеллигенция обуржуазилась.
Родилась люмпен-интеллигенция.

Есть в русском «люмпен» от слова «любит».
Как выбивались в инженера,
из инженеров выходит в люди
их бородатая детвора.

Их в институты не пустит гордость.
Там сатана правит балл тебе.
На место дворника гигантский конкурс —
музы носятся на метле!..

Двадцатилетняя, уже кормящая,
как та княгинюшка на Руси,
русская женщина новой формации
из аспиранток ушла в такси.

Ты едешь бледная — «люминесценция»! —
по темным улицам совсем одна.
Спасибо, люмпен-интеллигенция,
что можешь счетчик открыть с нуля!

Не надо думать, что ты без сердца.
Когда проедешь свой бывший дом,
две кнопки, вдавленные над дверцами,
в волнение выпрыгнут молодым...

Тебя приветствуют, как кровники,
ангелы утренней чистоты.
Из инженеров выходят в дворники —
кому-то надо страну мести!

В развалинах духа, где мысль победила,
спаси человека, нечистая сила —
народная вера цветка приворотного,
пречистая дева греха первородного.

Он звал парикмахерскую «Чародейка»,
глумился над чарами честолюбиво.
Нечистая сила, пойми человека,
оставь человека, нечистая сила!

За чащи разор, и охоты за ведьмами,
за то, что сломал он горбатую слпву, —
прощеньем казни, возвращенным неведеньем,
оставь человека, нечистая сила!

Зачем ты его, поругателя родины,
безмозглая сила, опять полюбила —
рябиной к нему наклонясь черношлюдною,
как будто затмением
красной рябины?..

Я внесу тебе клумбу зимнюю.
Цикламены дышат свежо,
сжаты ручкою от корзины,
как твое в бретельке плечо.

Ресторан качается, точно пароход,
а он свою любимую
замуж выдает.

Будем супермены. Сядем визави.
Разве современно
жениться по любви?

Черная, белая, пьяная метель...
Ресторан закроется —
двинемся в мотель.

«Ты поправь, любимая,
трефовый парик.
Ты разлей рябиновку
ровно на троих.

Будет все как было.
Проще, может быть.
Будешь вечерами
в гости приходить,

выходя, поглубже
капюшон надвинешь,
может, не разлюбишь,
но возненавидишь...»

«Сани расписные», — стонет шансонье.
Вот они отъедут —
расписанные...

И никто не скажет, вынимая нож:
«Что ж ты, блин, любимую
замуж выдаешь?»

Не исчезай

Не исчезай на тысячу лет,
не исчезай на какие-то полчаса...
Вернешься Ты через тысячу лет,
но все горит
Твоя свеча.

Не исчезай из жизни моей,
не исчезай сгоряча или невзначай.
Исчезнут все.
Только Ты не из их числа.
Будь из всех исключением,
не исчезай.

В нас вовек
не исчезнет наш звездный час,
самолет,
где летим мы с тобой вдвоем,
мы летим, мы летим,
мы все летим,
пристегнувшись одним ремнем, —
вне времен, —
дремлешь Ты на плече моем,
и, как огонь,
чуть просвечивает ладонь Твоя. Твоя ладонь...

Не исчезай
из жизни моей.
Не исчезай невзначай или сгоряча.
Есть тысячи ламп.
И в каждой есть тысячи свеч,
но мне нужна
Твоя свеча.

Не исчезай в нас, чистота,
не исчезай, даже если подступит край.
Ведь все равно, даже если исчезну сам,
я исчезнуть Тебе не дам.

Не исчезай.

Ипатьевская баллада

Морганатическую фрамугу
выломал я из оконного круга,
чем сохранил ее дни.
Дом ликвидировали без звука.
Боже, царя храни!

Этот скрипичный ключ деревянный,
свет заоконный, узор обманный,
видели те, кто расстрелян, в упор.
Смой фонограмму, фата моргана!
У мальчугана заспанный взор...
Аж кислотой, сволота, растворили...

— Дети! Как формула дома Романовых?
— H_2SO_4 !

Боже, храни народ бывшей России!
Серные ливни нам отомстили.
Фрамуга впечаталась в серых зрачках
мальчика с вещей гемофилией.
Не остановишь кровь посейчас.

Морганатическую фрамугу
вставлю в окошко моей лачуги
и окаянные дни протяну
под этим взглядом, расширенным мукой
неба с впечатанною фрамугой.
Боже, храни страну.

Да, но какая разлита разлука
в формуле кислоты!
И утираешь тряпкою ты
дали округи в раме фрамуги
и вопрошающий взор высоты.

Передраассветный штиль,
александрийский час,
и ежели про стиль —
я выбираю брасс.

Где на нефрите бухт
по шею из воды,
как Нефертити бюст,
выныриваешь ты.

Или гончар какой
наштамповал за миг
наклонный частокол
ста тысяч шей твоих?

Хватаешь воздух ртом
над стружкой завитой,
а главное потом,
а тело — под водой.

Вся жизнь твоя как брасс,
где тело под водой,
под поволокой фраз,
под службой, под фатой...

Свежо быть молодой,
нырнуть за глубиной
и неотрубленной
смеяться головой!..

...Я в южном полушарии
на спиночке лежу —
на спиночке поджаренной
ваш шар земной держу.

Мы были влюблены.
Под бабкиным халатом
твой жмурился пупок среди такой страны!
И водка по ножу
стекала в сок томатный,
не смешиваясь с ним.
Мы были влюблены.

Мы были влюблены. Сожмись, комок свободы!
А за окном луны, понятный для собак,
невидимый людьми,
шел не Христос по водам —
по крови деспот шел в бесшумных сапогах.

Плевался кровью кран под кухонною кровлей.
И умывались мы, не ведая вины.
Струилась в нас любовь, не смешиваясь с кровью.
Прости, что в эти дни
мы были влюблены.

Все пишут — я перестаю.
О Сталине, Высоцком, о Байкале,
Гребенникове и Шагале
писал, когда не разрешали.

Я не хочу «попасть в струю».

Н. Н. Берберовой

Вы мне написали левой,
за правую извиняясь,
которая была в гипсе —
бел-белое изваянье.

Вы выбрали пристань в Принстоне.
Но что замерло, как снег,
в откинута локте гипсовом,
мисс Серебряный век?

Кленовые листья падали,
отстегиваясь, как клипсы.
Простите мне мою правую
за то, что она без гипса.

Как ароматна, Господи,
избегнувшая ЧК,
как персиковая косточка
смуглая ваша щека!

Как женское тело гибко
сейчас, на моих глазах
становится статуей, гипсом
в неведомых нам садах.

Там нимфы — куда бельведерам!..
Сад Летний. Снегов овал.
Отставленный локоть Берберовой...
Был Гумилев офицером.
Он справа под локоть брал.

Кричала девочка батистовая,
меж мной металась и тобой,
живая шестилетней истиной:
«Вы ж муж с женой!»

И ты ответила наотмашь:
«Какая я ему жена?!
Что смотришь?
Спроси ты у него сама».

И на меня глядели с верою, что
шутит мать, что все не так.
Не убивать просили серые
мои глаза в твоих щеках.

И было ложно все, что сложно.
Твои катились и мои
из бешеных глазенок слезы,
и первые — уже свои.

«Кому на Руси жить плохо»

— Кому жить плохо на Руси?

— Спроси!

— Колхозник, как надои кукурузы?

Колхозник: «Соловьи в ей свищут, как Карузы».

— Бабуся, а к тебе судьба добра ли?

Бабуся: «Спасибо, что козу не отобрали».

— Рабочий, с НТР условия легче стали?

Рабочий: «Легче выносить микродетали».

— Красотки, как мужик при полноте достатка?

Красотки: «Хорош, как к телевизору приставка».

— Писатели, что в вашем околотке?

Писатели: «Грызем друг другу глотки».

— Телятницы, а как приплод телятины?

Телятницы: «Зато поем талантливо!»

— А вы, солисты ГАБТ и телерадио?

Солисты: «Чистим на субботнике телятников».

— Профессор, как культура нрава?

Профессор: «Хиляем, нахалюги, на хяляву».

— Христос, а ты доволен ли судьбою?

Христос: «С гвоздями перебой».

— Россия, что еще народу хочется?

Россия: «Когда же это кончится?..»

ВИДЕОМЫ



Ипатьевский дом.

Дерево, оргстекло; использован переплет окна, на который
смотрела в момент расстрела семья императора.

1991 г.



Игорь Северянин.

Бумага, пипифакс, шелк.
1990 г.

AmDeli BOMBECK



Пасха.

Бумага, пасхальные яйца.

1991 г.

"Купола горят глазами".

Металлическая сковорода, цветная глазурь.

1991 г.





Портрет Мадонны.
Гуашь. 1992 г.

Девочка с пирсингом.
Калька, белила, гуашь. 1991 г.





Marlboro

Боярыня Морозова.
Гуашь. 1991 г.



МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



Иллюстрация

к "Хронике из жизни ноликов и крестиков",
Гуашь, 1991 г.



Портрет крестьянина.

Акварель. 1959 г.

Оскар Уайльд.

Шелковый цилиндр, репсовая бабочка, оргстекло, металл.
1991 г.

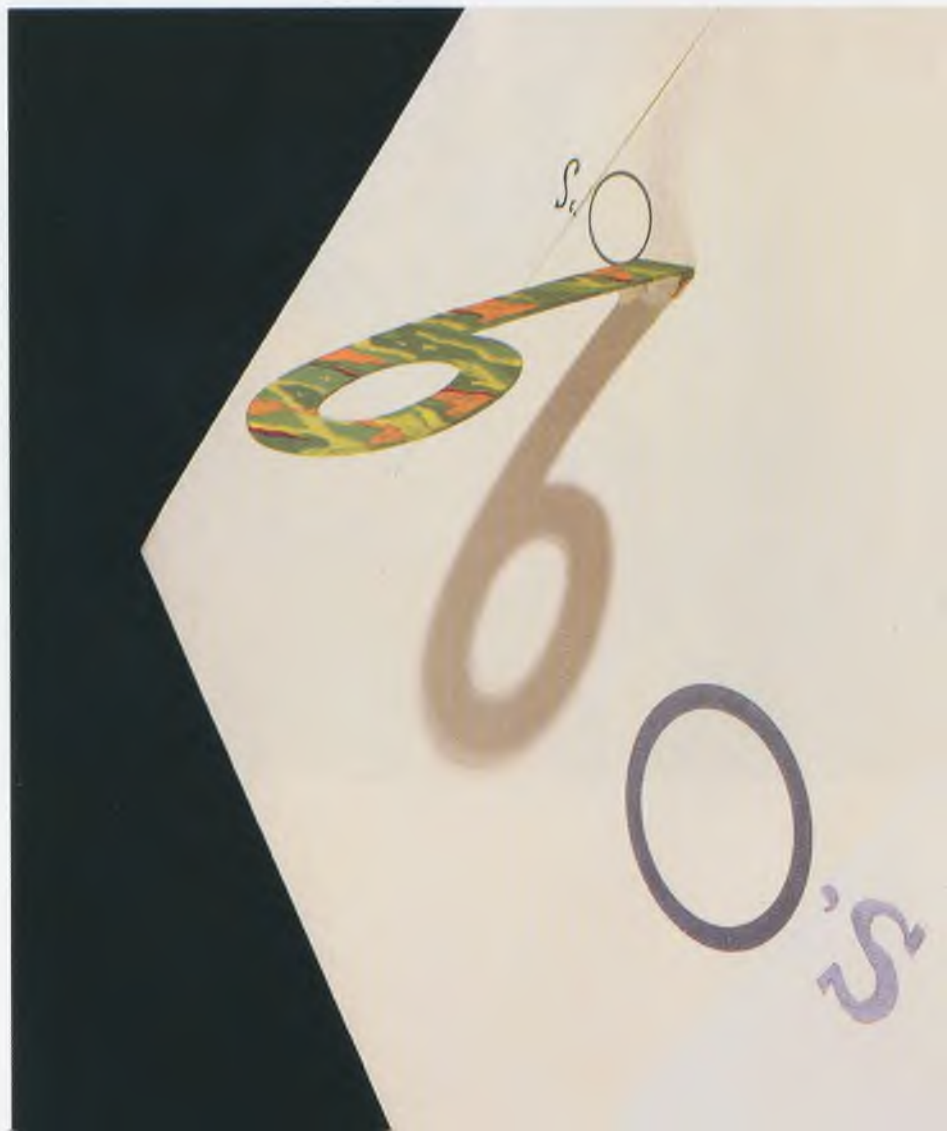


Портрет дамы.
Акварель. 1960 г.



Девяностые —
шестидесятые.

Картон, акварель. 1990 г.



Колхозница.
Акварель. 1959 г.



Сосна-насос.

Дерево, металл. 1990 г.



Портрет дочери
художника Фрих-Хара.
Картон, итальянский
карандаш, акварель.
1962 г.



Во время информационного взрыва,
если вы живы, —
что редко, —
накрывайтесь «Вечеркой» или районным
«Призывом»
и не думайте о тарелках.

Во время информационного взрыва
нет пива,
нет рыбы, есть очередь за чтивом.
Мозги от черного детектива
усыхают, как черносливы.

Контуженные информационным взрывом,
мужчины становятся игривы и вольнолюбивы,
суждены им благие порывы,
но
свершить ничего не дано,
они играют в подъездах трио,
уходят в домино
или кассетное кино.

Сфинкс, реши-ка наши кроссворды!
Человечество утроилось.
Информированные красотки
перешли на запоминающее устройство.

Музыкальные браконьеры
преодолевают звуковые барьеры.
Многие трупы
записываются в тургруппы.

Информационные графоманы
пишут, что диверсант Румянов,
имя скрыв,

в разных городах путем обманов
подготавливает демографический взрыв.

Симптомы:

тяга к ведьмам, спиритам и спиртному.

Выделяется колоссальная духовная энергия.

Вызывают дух отца Сергия.

Над Онегою

ведьмы в очереди зубоскалят —

почему женщин не берут на «Скайлэб»?

Космонавт NN к полету готов,
и готов к полету спирит Петров.

Как прекрасно лететь над полем
в инфракрасном плаще с подбоем!

Вызывает следователь МУРа

дух бухгалтера убиенного.

Тот после допроса хмуро

возвращается в огненную геенну.

Над трудящимися Севера

писательница, тепло встреченная,

тарыхтит, как пустая сеялка

разумного, доброго, вечного...

Умирает век — выделяется его биополе.

Умирает материя — выделяется дух.

Над людьми проступают идея и воля.

Лебединою песней летит тополиный пух.

Я, один из преступных прародителей

информационного взрыва,

вызвавший его на себя,

погибший от правды его и кривды,

думаю останками лба.

Мы сами сажали познания яблони,

кощунственные неомичурины.

Нам хотелось правды от Бога и дьявола!

Неужто мы обмишурились?

Что даст это дерево взрыва,
привитое в наши дни
к антоновскому наиву
читающей самой страны?

Озерной, интуитивной,
конкретной до откровенья...
Голову ампутируйте,
чтоб в душу не шла гангрена.

Подайте калеке духовной войны!
Сломанные судьбы — издержки игр.
Мы с тобой погибли от информационной
войны.
Информационный взрыв — бумажный тигр.

...Как тихо после взрыва! Как вам здорово!
Какая без меня вам будет тишина...
Но свободно залетевшее
иррациональное зернышко
взойдет в душе озерного пацана.

И все будет оправдано этими очами —
наших дней запутавшийся клубок.
Вначале было Слово. Он все начнет сначала.
Согласно информации, слово — Бог.

Монолог века

Приближается век мой к закату —
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.

Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит как кирпич в веках.

Называйте его уродом.
Шлите жалобы на Творца.
На дворе двадцатые годы —
не с начала, так от конца.

Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.

Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын
из ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.

Бейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили Бога.
Специален Бог для битья.

Провожайте мой век дубиною,
каков век, таков и поэт.
Извините меня, любимые,
у вас века другого нет...

...Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля Землей,
я не знаю, конечно, сколько,
но одно понимаю — мой.

Ода одежде

Первый бунт против Бога — одежда.
Голый, созданный в холоде леса,
поправляя Создателя дерзко,
вдруг — оделся.

Подрывание строя — одежда,
когда жердеобразный чудак
каждодневно
желтой кофты вывешивал флаг.

В чем великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов —
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев,
чтобы легче дышать или плакать, —
декольте на груди вырезает,
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестесненно и смело,
очертаньями хороша,
содержанье одежды — тело,
содержание тела — душа.

Перед ремонтом

В год приближения Галлеи
прощаюсь с Третьяковской галереей.

Картины сняты. Пусты анфилады.
Стремянкою с последнего холста
спускался человек, похожий на Филатова.
Снимали со стены «Явление Христа».

Рыдают бабы. На стенах разводы.
Ты сам статьями торопил ремонт.
«Явление Христа» уходит от народа
в запасный фонд.

Ты выступал, что все гниет преступно,
чего ж ты заикаешься от слез?
Последним капитан уходит с судна —
не понятый художником Христос.

Художнику Христос не удавался.
Фигуркой исчезающей из глаз,
вы думали — он приближался?
Он, пятясь, удаляется от нас.

До нового свиданья, Галерея!
До нового чертога, красота.
Не нам, не нам ты лвишься, Галлея.
До новых зрителей, «Явление Христа».

На улицу, раздвинув операторов
и запахнув сатиновый хитон,
шел человек, похожий на Филатова.
Я обознался. Это был не он.

1986

Сидят три девы — стеклодувши
с шестью, полыми внутри.
Их выдуваемые души горят,
как бычьи пузыри.

Душа имеет форму шара,
имеет форму самовара.
Душа — абстракт. Но в смысле формы
она дает любую фору!

Марине бы опохмелиться,
но на губах ее горит
душа пунцовая, как птица,
которая не улетит!

Нинель ушла от моториста.
Душа высвобождает грудь,
вся в предвкушение материнства,
чтоб накормить или вздохнуть.

Уста Фаины из всех алгебр
с трудом три буквы назовут,
но с уст ее абстрактный ангел
отряхивает изумруд!

Дай дуну в дудку, постараюсь.
Дай гостю душу показать.
Моя душа не состоялась,
из формы вырвалась опять.

В век Скайлэба и Байконура
смешна кустарность ремесла.
О чем, Марина, ты вздохнула?
И красный ландыш родился.

Уходят люди и эпохи,
но на прилавках хрустала
стоят их крохотные вздохи
по три рубля, по два рубля...

О чем, Марина, ты вздохнула?
Не знаю. Тело упорхнуло.
Душа, плененная в стекле,
стенает на моем столе.

Долг

История — прямо
долговая яма.
Мне должен Наполеон
Арбат, который был спасен.

— Представим, что татарского ига нет,
тогда все сдвинется на 300 лет.
Чингисхан
мне должен 300 лет назад не построенный БАМ.

Хау ду ю ду? —
если бы мы взяли Зимний в 1617 году?
В Европе бы грызлись Алые и Белые розы,
а мы бы уже укрупняли колхозы.
Если б не Иго,
Иван Грозный бы вылезал из МиГа.
А Шекспир
ехал бы к нам бороться за мир.
До границы его бы карета везла,
а от Ленинграда экспресс «Красная стрела».

Одно лицо
должно мне Садовое кольцо.
Продолжим.
Я должен
недочитанному поэту по имени Спир. Дрожжин.
Я должен
мальчику 2000 года
за газ и за воду
и погибшую северную рыбу.
(Он говорит: «Спасибо!»)

Поднесут ли лютики
к столетию научно-технической революции?

Под ночной переделкинский поезд
между зеркалом и окном
увлекательнейшую повесть
пишет женщина легким пером.

Что ей поезда временный посвист
и комарная сволота?
Лампа золотом падает в повесть
и такие же волоса.

Я желаю ей, чтобы повесть
удалась,
чтоб была в ней гармония, то есть
что не складывается подчас.

Как сжимается сердце дрожью
за конечный порядок земной.
Вдоль дороги стояли рощи
и дрожали, как бег трусцой.

Все — конечно, и ты — конечна.
Им твоя красота пустык.
Ты останешься в слове, конечно.
Жаль, что не на моих устах.

Для души, северянки покорной,
и не надобно лучшей из пищ.
Брось ей в небо, как рыбам подкормку,
монастырскую горсточку птиц!

Бобры должны мочить хвосты,
Они темны и потаенны,
обмакнутые в водоемы,
как потаенные цветы.

Но распускаются с опаской
два зуба алою печалью,
как лента с шапки партизанской
иль кактусы порасцветали.

Мне лаяла собачка белая.
И на холме за хуторами
две рощи — правая и левая —
лай этот эхом повторяли.

Два разделившиеся эха
в них пели, плакали, свистели,
как в двух расстроенных, ореховых,
стереофонических системах.

Я закричал, не знал, что делаю.
И надо мной в вечернем гуле
две рощи — правая и левая —
моим же голосом вздохнули.

Я не ведаю в женщине той
черной речи и чуингама,
та возлюбленная со мной
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А ее уязвленная брань —
доказательство чувства.

Облака лежали штучные.
У небес пасхальный цвет.
Солнце было в белой тучке,
точно яйца на просвет.

Откровенная локальность
мне напоминала пляж,
где отчетлив и нахален
мой излюбленный типаж.

Шорты белые внатяжку
на телах как шоколад,
как липтые унитазы
в темном воздухе парят.

Зарастающее озеро

Я полюблю вас, клювы кувшинок,
шум камышинный, птичьи ватаги,
я прикасаюсь рукою мужчины
к лодкам
со скользкими животами.

Заполонило,
заполонило
переполохом купав и купальщиц,
я переполнен наполовину
отсветом башен, в воду упавших.

Позаращаем, позаращаем,
позаращает озеро лесом,
позаращает пень
мирозданием,
тело — душою,
души — телесным.

Женщина с зябнувшим следом бикини
из целлулоидного Марокко,
я поцелуев твоих не покину,
мы растаем луной и морошкой.

Позарастаем —
 значит, полюбим,
все, что получим,
сразу раздарим —
листья плавучие
 с медной полудой,
плавное тело
с душным загаром.

Оленья охота

Трапециями колеблющимися
скользя через лес,
олени,
как троллейбусы,
снимают ток
с небес.

Я опоздал к отходу их
на пару тысяч лет,
но тянет на охоту —
вслед...

Когда их Бог задумал,
не понимал и сам,
что в душу мне задует
тоску по небесам.

Тоскующие дула
протянуты к лесам!

О эта зависть резкая,
два спаренных ствола —
как провод перерезанный
к природе, что ушла.

Сквозь пристальные годы
тоскую по тому,
кто опоздал к отлету,
к отлову моему!

1

Играю в вист с советскими нудистами.
На пляже не особо талмудистском,
между малиновыми ундинами,
бесстрастными коленками, мудищами
неголые летали короли.

Игра на раздевание. Сдавала
Мальвина, врач из Краснодара,
одетая в бикини незагара.
Они ей были сзади велики.

Мальвина в безразмерные зрачки
в себя вбирала:
денежные знаки,
презренные лежащие одежды,
стыд одеяла,
газетные рубахи,
сброшенные страхи,
комплексы вины
разной длины,
народы в разных позах идеала,

берег с волейбольною сеткою на бедрах,

меня — как кости в целлофане,
она вбирала сарафаны,
испуги на металлических пуговках,
шорты-пузыри,
себя как бы одевала изнутри,
спаружи оставаясь обнаженной,
а по краям бруснично обожженной,

Мальвинин муж нудистов раздевал.

2

— Разденемся, товарищи нудисты!
 Снимайте страхи и чужие мысли.
 Рэмбо, сбросьте накачанные подплечники.
 Вы — без маек,
 но прикрываетесь дурацкими лозунгами,
 плохо пошитыми надеждами.

Партийные и беспартийные,
 оденемся в свободу страсти без!
 Юпоша, хватайте ферзя противника!
 Это не ферзь!

Нудист не может быть влюблен.
 Вход в рай нудистам воспрещен.
 Вы ренуаровское «ню»
 одели в идейную хайню.
 Антр ну,
 я не могу раздеть жену —
 ее скрывает покров аристократизма.

— Нудила-мученик, катись ты!..

Мальвина тут произвела отскок
 и сбросила свои аристок-
 ратические замашки.

И сквозь ее девический сосок
 проклюнулся березовый листок.
 «Поднимем взятки! — заорал Мальвинин. —
 На завтра обещают ливень».

Навстречу ехал «мерседес» —
 приют убогого чухонца.
 Чухонец ехал тоже без,
 но рефлексировал: «Есть хочца!»

Не видя неконвертируемого финна,
 Мальвина
 сидела,
 обхвативши ноги,
 одета, как в невидимую тогу,

в драгоценную тревогу
 новой невиданной любви.
 Куда там Богу!
 О боги, боги...
 Лежали под наколкой короли,
 и нет свободной на земле земли.

И страх лежал на пляже,
 на рожденье,
 и до рожденья в памяти лежал,
 и тело сняв, его мы не разденем.

Мальвинин продолжал...

3

Мальвина, море зевом львиным
 белело. В клубе шла «Калина».
 Мальвина, чья вина, Мальвина?
 «Мосфильма»?

«Мальвина, — он шептал, — Мальвина», —
 и все уже непоправимо —
 кассета про дворец Амина,
 помилуй бог — и серафимы! —
 Мальвина, чья вина —
 Совмина?

Такую цену заломила.
 Жизнь уместилась вполовину.
 Мальвина, чья вина, Мальвина?
 Минфина?

4

Мальвинин продолжал:
 «Не спорю.
 Спустимся к морю.
 Хотя оно на карантине».
 Мальвина, чья вина, дельфина?

Мы вышли к морю.
 Картина.

Солнца диско
стояло низко, как собачья миска.

Все сбрасывали длинные малиновые по краям тени.
За гномиком,
с видом каноника —
лежала его тeneвая эконоμника,

Брюнет с мясами на весу
отбрасывал левую колбасу.

От Ивана Ивановича
шла тень Иосифа Виссарионовича.

Шла тень за всеми, как могила.
Мальвина, чья вина, Мальвина?

От секретаря обкома
тянулась тень до окоема.

Но самой длинной
была тень от обалдения Мальвиной.

Все тени шли в направлении страны.

«Отбросим лишнее!» —
Мальвинин врезал.
Взял ножницы и тени нам отрезал.

И крикнул, запихав их в «дипломат»:
«Колоду! Сматываемся, мать».

Нам было голо, зябко и гадливо.

Радио транслировало Малинина.
Манило сердце к магазину.
Мальвина, чья вина — Грузвина?

А там вдали за скрывшейся Мальвиной,
вся в Книгу Книг занесена,
одной прикрытая молитвой,
лежит раздетая страна.

Мальвинин нам махал с горы.
Его ждало такси за школой.
Орали в «дипломате» короли:
«Народ-то голый!»

5

Все ливень смысл неумолимо
назавтра, в джинсах пилигримы,
мы шли, не узнавая, мимо.
Мальвина, чья вина, Мальвина?

Бойни перед сносом

Памяти чикагских боев

I

Я как врач с надоевшим вопросом:

«Где больно?»

Бойни старые
приняты к сносу.

Где бойни?

II

Ангарообразная кирпичага
с отпечатавшеюся опалубкою.

Отпеваю бойни Чикаго,
девятнадцатый век оплакиваю.

Вы уродливы,
бойни Чикаго, —
на погост!

В мире, где квадратные
виноградины
Хэбитага
собраны в более уродливую гроздь!

Опустели,
как Ассирийская монархия.

На соломе
засохший
навоза кусочек.

Эхом ахая,
вызываю души усопших.

А в углу с погребальной молитвою
при участии телеока
бреют электробритвою
последнего
живого теленка.

У него на шее бубенчик.
И шуршат с потолков голубых
крылья призраков убиенных:
белый бык, черный бык, красный бык.

Ты прости меня, белый убитый,
ты о чем наклонился с высот?
Свою голову с думой обидной,
как двурогую тачку, везет!

Ты прости, мой печальный кузнечик,
усмехающийся кирасир!
С мощной грудью, как черный кузнечик,
черно-красные крылья носил.

Третий был продольно распилен,
точно страшная карта страны,
где зияли рубцы и насилие
человечьей наивной вины.

И над бойнею грациозно
слава реяла, отпевая,
словно
дева
туберкулезная,
кровь стаканчиком попивая.

Отпеваю семь тощих буренок,
семь надежд и печалей районных,
чья спина от крестца до лопатки
провисала,
будто палатки...

Но звенит коровий сыночек,
как председательствующий
в звоночек,
это значит:
«Довольно выть.
Подойди.
Услышь и увидь».

III

Бойни пусты, как кокон сборный.
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

IV

И я увидел: впереди меня
стояла Ио.
Став на четвереньки,
с глазами Суламифи и чеченки,
стояла Ио.
Нимфина спина,
горизонтальна и изумлена,
была полна
жемчужного испуга,
дрожа от приближения слепня.

(Когда-то Зевс, застигнутый супругой,
любовницу в корову превратил
и этим кривотолки прекратил.)

Стояла Ио, гневом и стыдом
полна. Ее молочница доила.
И, вскормленные молоком от Ио,
обманутым и горьким молочком,
кричат малыцы отсюда и до Рио:
«Мы — дети Ио!»
Ио герои скромного порыва,
мы — и.о.
Ио мужчины, гибкие, как ивы,
мы — ио,
ио поэт с призваньем водолива,
мы — ио.
Ио любовь в объятиях тоскливых
обеденного перерыва,
мы — ио, ио,
мы — ио, ио,
ио иуды, но без их наива,
мы — ио!

Но кто же мы на самом деле?
Или

нас опоили?
 Но ведь нас родили!
 Виновница надой выполняла,
 обман парнасский
 вспоминала вяло.
 «Страдалица!» —
 ей скажет в простоте
 доярка.
 Кружка вспенится парная
 с завышенным процентом ДДТ.

V

Только эхо в пустынной штольне.
 Боев нет в Чикаго. Где бойни?

VI

По стене свисала распластанная,
 за хвост подвешенная с потолка,
 в форме темного
 контрабаса,
 безголовая шкура телка.

И услышал я вроде гласа.

«Добрый день, — я услышал, — мастер!
 Но скажите — ради чего
 Вы съели 40 тонн мяса?
 В Вас самих 72 кило.

Вы съели стада моих дедушек, бабушек...
 Чту Ваш вкус.
 Я не вижу Вас, Вы, чай, в «бабочке»,
 как член Нью-йоркской академии искусств?

Но Вы помните, как в кладовке,
 в доме бабушкиного тепла,
 Вы давали сахар с ладошки
 задушевному губам телка?

И когда-нибудь лет через тридцать
 внук Ваш, как и Вы, человек,

проводя иную тризну,
отпевая тридцатый век,

в пустоте стерильных салонов,
словно в притче, сходя с ума, —
ни души! лишь пучок соломы —
закричит: «Кусочка дерьма!»

VII

Видно, спал я, стоя, как кони.
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

VIII

Но досматривать сон не стал я.
Я спешил в Сент-Джорджский собор,
голодающим из Пакистана
мы давали концертный сбор.

«Миллионы сестер наших в корчах,
миллионы братьев без корочки,
миллионы отцов в удущьях,
миллионы матерей худущих...»

И в честь матери из Бангладеша,
что скелетик сына несла
с колокольчиком безнадежным,
я включил, как «Камо грядеши?»,
горевые колокола!

Колокол, триединый колокол,
«Лебедь»,
«Красный»
и «Голодарь»,
голодом,
только голодом
правы музыка и удар!

Колокол, крикни, колокол,
что кому-то нечего есть!
Пусть хрипла торопливость голоса,
но она чистота и есть!

Колокол, красный колокол,
расходившийся колуном,
хохотом, ахни хохотом,
хороша чистота огнем.

Колокол, лебединый колокол,
мой застенчивейший регистр!
Ты, дыша,
кандалы расковывал,
лишь возлюбленный голос чист.

Колокольная моя служба,
ты священная моя страсть,
но кому-то ежели нужно,
чтобы с голоду не упасть,
даю музыку на осьмушки,
чтоб от пушек и зла спасла.

Как когда-то царь Петр на пушки
переплавливал колокола.

IX

Онемевшая колокольная.
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

Черные верблюды

(на мотив Махамбета)

Требуются черные верблюды,
черные, как гири, горбы!
Белые верблюды для нашей работы — слабы.
Женщины нам не любы. Их груди отвлекут от борбы.
Черные верблюды, черные верблюды,
накопленные горбы.

Захлопнутся над черепами,
как щипцы для орехов, гробы.
Черные верблюды, черные верблюды,
черные верблюды беды!

Катитесь, чугунные ядра, на желтом и голубом.
Восстание, как затмение, наедет черным горбом.

На белых песках — чиновники, как раздавленные клопы.
Черные верблюды, черные верблюды,
разгневанные горбы!

Нынче ночь не для блуда. Мужчины возьмут ножи.
Черные верблюды, черные верблюды,
черные верблюды — нужны.

Черные верблюды, черные верблюды
по бледным ублюдкам грядут.
На труса не тратьте пулю —
плюнет черный верблюд!

По пояс снѣга,
по сердце снега,
по шею снега,
вперегонки,
ни человека —
летят машины, как страшные снежки!

Машин от снега не очищают.
Сугроб сугроба просит прикурить.
Прохожий — Макбет. Чревовещающая,
холмы за ним гонятся во всю прыть.

Пирог с капустой. Сугроб с девицей.
Та с карапузом — и все визжат.
Дрожат антенки, как зад со шприцем.
Слепые шпарят, как ясновидцы, —
жалко маленьких сугробят!

Сугроб с прицепом — как баба снежная.
Слепцы поют в церкви — снѣга, снѣга...
Я не расшибся, но в гипсе свежем,
как травматологическая нога.

Негр на бампер налег, как пахари.
Сугроб качается. «Вив ламур!»
А ты в «фольксвагене», как клюква в сахаре,
куда катишься — глаза зажмурь!

Ау, подснежник в сугробе грозном,
колдунья женского ремесла,
ты зажигалку системы «Ронсон»
к шнуру бикфордову поднесла...

Слепые справа, слепые слева,
зрячему не выжить ни черта.

Непостижимая валит с неба
великолепная слепота!

Да хранит нас
и в глаза лепится
в слепое время, в слепой поход,
слепота надежд,
слепота детств,
слепота лепета
и миллионы иных слепот!

Летите слепо, любите слепо,
и пусть я что-то не так спел,
и если за что-то накажет небо —
что был от любви
недостаточно слеп.

Спасибо, что свечу поставила
в католикосовском лесу,
что не погасла свечка талая
за грешный крест, что я ношу.

Я думаю, на что похожая
свеча, снижаясь, догорит
от неба к нашему подножию?
Мне не успеть договорить.

Меж ежедневных Черных речек
я светлую благодарю,
меж тыщи похоронных свечек —
свечу заздравную твою.

Их, наверно, тыщи — хрустящих лакомок!
Клесты лущат семечки в хрусте крон.
Надо всей Америкой
хрустальный благовест.
Так необычаен молчальный звон.

Он не ради славы, молчальный благовест,
просто лущат пищу — отсюда он.
Никакого чуда, а душа расплакалась —
молчальный звон!..

Этот звон молчальный таков по слуху,
будто сто отшельничающих клестов
ворошат волшебные погремухи
или затевают сорок сороков.

Птичьи коммуны, не бойтесь швабры!
Групповых ансамблей широк почин.
Надо всей Америкой — групповые свадьбы
Есть и не поклонники групповщины.

Групповые драки, групповые койки.
Тих единоличник во фраке гробовом.
У его супруги на всех пальцах —
кольца,
видно, пребывает
в браке групповом...

А по-над дорогой хруст серебра.
Здесь сама работа звенит за себя.
Кормят, молодчаги, детей и жен,
ну а получается
молчальный звон!

В этом клестианстве — антипод свиарни.
Чистят короедов — молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то
превосходит в звонарности,
но он не умеет
молчальный звон!

Юркие ньюйоркочки и чпкагочки,
за ваш звон молчальный спасибо,
клесты.
Звонят листы дубовые,
будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.

В этот звон волшебный уйду от ужаса,
посреди беседы замру, смущен.
Будто на Владимирщине —
прислушайся! —
молчальный звон...

Название «неокесарийский»
гончар, по кличке Полубес,
прочел как «неба косари мы»
и ввел подсолнух керосинный,
и синий фон, и лук серийный,
и разрыв-травы в изразец.

И слезы очи засорили,
когда он на небо залез.

«Ах, отчаянный гончар,
Полубес,
чем глазурный начинал
голубец?

Лепестки твои, кустарь,
из росы.
Только хрупки, как хрусталь,
изразцы.

Только цвет твой, как анчар,
ядовит...»
С высоты своей гончар
говорит:
«Чем до свадьбы непорочней,
тем отчаянней бабец.
Чем он звонче и непрочней,
тем извечней изразец.

Нестираема краса —
изразец.
Пососите, небеса,
леденец!

Будет красная Москва
от огня,
будет черная Москва,
головня,
будет белая Москва
от снегов —
все повылечит трава
изразцов.
Изумрудна огня!
Лишь не вылечит меня.

Я к жене чужой ходил. Луг косил.
В изразцы ее кровь замесил».

И, обняв оживший фриз,
белый весь,
с колокольни рухнул
вниз
Полубес!

Когда в полночи бессонной
гляжу на фриз полубесовский,
когда тоски не погасить,
греховным храмом озаримый,
твержу я: «Неба косари мы.
Косить нам — не перекосить».

А. Дементьеву

Увижу ли, как лес сквозит,
или осоку с озерцами,
не созерцанье — сосердцанье
меня к природе пригвоздит.

Вечерний свет ударит ниц,
и на мгновение, не дольше,
на темной туче восемь птиц
блеснут, как гвозди на подошве.

Пускай останутся в словах
вонзившиеся эти утки,
как у Есенина в ногтях
осталась известь штукатурки.

Как он цеплялся за косяк,
пока сознание не потухло!

Раму раскрыв, с подоконника, в фартуке,
тыльной ладонью лаская стекло,
моешь окно — как играют на арфе.
Чисто от музыки и светло.

Висит метла — как танцплощадка,
как тесно скрученные люди,
внизу, как тыща ног нещадных,
чуть-чуть просвечивают прутья.

Мы живем между звездами и пастухами
под стеной телескопа, в лачуге, в саду.
Нам в стекло постучали:
«Погасите окно — нам не видно звезду».

Погасите окно, алых штор дешевизну,
из двух разных светил выбирайте одно.
Чтоб в саду рассвели гефсиманские дикие вишни,
погасите окно.

Мы окно погасили, дали Цезарю цезарево.
Но сквозь тысячи лет — это было давно! —
пробивается свет, что с тобой мы зарезали.
Погасите звезду — мне не видно окно.

В чудотворном цветении терна
есть неведение про подлог.
И подобье медвяного стога
тянет в сторону от дорог.

Есть в снотворном цветении терна
нота боли или тоски —
словно яблок сквозь крупную терку
или с сердца летят лепестки.

Отклонитесь в цветение терна
от проторенной колеи
в звон валторны — слабей на полтона,
чтобы слышать другие могли.

Я твои не обижу повторно
оклеветанные цветы...
Нет шипов у цветущего терна.
Отцветет — и начнутся шипы.

В сухих погремущечных георгинах —
а может, во сне —
доносится пошлая фраза «форгив ми!»
невесть почему в обращение ко мне.

Должно быть, у памяти в фоноархиве
осталась нестертая строчка одна.
Я не был в америках. Что за «форгив ми»?
Зачем не по-русски ты мучишь меня?

Как если раскаявшаяся гуляка,
уходит душа, сбросив вас как белье,
как если хозяйка травят собаку
и просят прощения у нее!..

Но кто-то ж виновен, что годы погибли?
Что тело по гривне пошло по стране?
И я повторяю — «форгив ми, форгив ми» —
мой собственный вздох, обращенный ко мне.

Новая Лебедя

Звезда народилась в созвездии Лебедя —
такое проспаться!
Явилась стажеру без роду и племени
«Новая Лебедя-75».

Наседкой сидят корифеи на лйцах,
в тулупах высиживая звезду.
Она ж вылупляется и является
совсем непристойному свистуну.

Ты в выборе сбрендил. Новая Лебедя!
Египетский свет на себе задержав,
бесстыдно, при всей человеческой челяди
ему пожелала принадлежать.

Она откровенностью будоражила,
сменила лебяжьего вожака,
все лебеди — белые, эта — оранжева,
обворожительно ворожа.

Дарила избраннику свет и богатства
все три триумфальные месяца. Но —
погасла!..
Как будто сколупленное домино.

«Прощай, моя муза, прощай, моя Новая
Лебедя!

Растет неизвестность из черной дыры.
Меня научила себя забывать и ослепнуть.
Русалка отправлена на костры.

Опять в неизвестность окно отпираю.
Ты — Новая Лебедь, не быть тебе старой...
Из кружки полейте на руки Пилату.

Прощай, моя флейта!
Прощай, моя лживая слава.
Ты мне надоела. Ступай к аспиранту».

На улице, где ты живешь
над новогодней велогонкой,
ко мне прибился лживый пес,
чертополох четвероногий.

Как шапку и другие вещи,
его я оставлял внизу.
Но гаснут слочные свечи,
когда я в комнату вхожу.

Льнешь ли лживой зверью,
 юбкою вертя,
 я тебе не верю —
 верую в тебя.

Бьешь ли в мои двери
 камнями, толпа, —
 я тебе не верю.
 Верую в тебя.

Красная ль, скверная ль
 людская судьба —
 я тебе не верю.
 Верую в себя.

P. S.

От Мастера, как и от Моисея,
останется не техника скрижали —
а атмосфера, —
чтоб не читали после, а дышали!

Я загляжусь на тебя, без ума
от ежедневных твоих сокровищ.
Плюнешь на пальцы. Ими двумя
гасишь свечу, словно бабочку ловишь.

Гибель оленя

Меня, оленя, комары задрали.
Мне в Лёну не нырнуть с обрыва на заре.
Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями —
комар на комаре.

Оставьте кровь во мне — колени остывают.
Я волка забивал в разгневанной игре.
Комар из комара сосет через товарища,
комар на комаре.

Спаси меня, якут! Я донор миллипонов.
Как я не придавал значения муре!
В июльском мареве малинового звона
комар на комаре.

Я тыщи их давил, но гнус бессмертен, лютый.
Я слышу через сон — покинувши меня,
над тундрой звеня, летит, налившись клюквой,
кровиночка моя.

Она гудит в ночи трассирующей каплей
от порта Анадырь до Карских островов.
Открою рот завывать — вцепилась в глотку кляпом
орава комаров.

Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роще законной,
все не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зеленая видна,
а в хмурый — медная заметнее.

Островам незнакома корысть,
а когда до воды добредаем,
прилетают нас чайки кормить
красотою и состраданьем.

Красотою, наверно, за то,
что мы в людях с тобой не погибли,
что твое золотое пальто
от заката лоснится по-рыбьи.

Состраданьем, наверно, за то,
что сквозь хлорную известь помёта
мы поверили шансов на сто
в острый запах полета.

*Поэма**Памяти Светланы Поповой, студентки 2-го курса МГУ***Заплачка перед поэмой**

«Заря Марья, заря Дарья, заря Катерина»,
свеча талая,
свеча краткая,
свеча стеариновая,
медицина — лишнее, чуда жду,
отдышите лыжницу в кольском льду!

Вифлеемские метеориты,
звезда Марса,
звезда исторического материализма,
сделайте уступочку, хотя б одну —
отпустите доченьку в кольском льду!

Она и не жила еще по-настоящему...
Заря Анна,
лес Александр,
сад Афанасий,
вы учили чуду, а чуда нет —
оживите лыжницу двадцати лет!

И пес воет: «Мне, псу, плохо...
Звезда Альма,
звезда Гончих псов,
звезда Кабысдоха,
отыщите лыжницу, сделайте живой,
все мне голос слышится: «Джой! Джой!»

Что ж ты дрессировала
бегать рядом с тобой?
Сквозь бульвар сыроватый
я бегу с пустотой.

Носит мать, обрелевшись,
куда-то цветы.
Я ж, единственный, верю,
что зовешь меня ты.

Нет тебя в коридоре,
нету в парке пустом,
на холме тебя нету,
нет тебя за холмом.

Как цветы окаянные,
ночью пахнет тобой
красный бархат дивана
и от ручки дверной!»

Пролог

«На антарктической метстанции
нам дали в дар американцы
куб, брызнувший иллюминацией, —
«Лед 1917-й»!

Ошеломительно чертовски
похолодевшим пиццеводом
хватить согретый на спиртовке
глоток семнадцатого года!
Уходит время и стареет,
но над планетою, гудя,
как стопка вымытых тарелок,
растут ледовые года».

Все это вспомнил я, когда
по холодильнику спецльда
меня вела экскурсовод,
студентка с личиком калмычки,
волнуясь, свитерок колыша.
И вызывала нужный год,
как вызывают лифт отмычкой.

Льдина первая

Лед! —

Страшен набор карандашный —
год черный и красный год,
— *лед, лед* —

лед тыща девятьсот кронштадтский,
 шахматный, в дырах лед!
 — лед, лед, лед —
 лед тыща семьсот трефовый
 от врытых по пояс мятежников,
 — лед, лед, лед, лед —
 лед тыща девятьсот блевфовый
 невылупившихся подснежников,
 — лед, лед, лед, лед, лед —
 июньский сорок проклятый,
 гильзовая коррозия,
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 лед статун генерала,
 облитого водой на морозе!
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 лед тыща девятьсот зеленый,
 грибной, богатый,
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 лед тыща девятьсот соленый
 от крови с сапог поганных,
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед
 лед тыща восемьсот звенящий,
 трехцветный, драгунский,
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 в соломе потелый ящик —
 лед тыща шестьсот Бургундский!
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 лед тыща семьсот паркетный,
 России ледовый сон,
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 и малахитовых колонн
 штаны зеленые, вельветовые
 (кинзу расширенный фасон)!
 «И чуть-чуть вздутые на коленях», —
 добавила экскурсовод.
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 Лед тыща триста фиолетовый,
 шелк католических сутан
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 Меч холодный, потом согретый,
 где не дыша лежат валетом:
 Изольда, меч, Тристан.

И жгут соловьи отпетые —
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 чтоб лед растопить и лечь:
 Изольда, Тристан, меч.
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

«Ау, — скажу я, — друг мой тайный,
 в году качаешься хрустальном,
 дыханье одуванчком храня...»

Но тут экскурсовод меня
 одернула и покраснела
 и продолжала поясненья:
 «Дыханье сонное народов
 и испаренья суеты
 осядут, взмыв до небосвода,
 и образуют льды.
 И взвешивают наши вины
 на белоснежной шпроте,
 как гирьки черные, пингвины,
 откашливая ДДТ.
 Лед цепкой памятью наложен.
 Лишь 69-й сломан».

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 туманный, как в трубе подзорной,
 год тыща сколько-то позорный
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 и неоплаченной цены
 лед неотпущенной вины
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 рыбачков ледовое попоище,
 и по уши
 мальчонка в проруби орет:
 «Живой я!»
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 ты вздрогнула, экскурсовод?

Поводырек мой, бука, муза,
 архангелок с жаргоном вуза,
 мы с нею провели века.
 Она каким-то гнетом груза
 томилась, но была легка
 в бесплотной солнечной печали,
 как будто родинки витали

просто в луче. Ее движенья
 совсем не оставляли тени.
 Кретин! Какая тень на льду?
 Иду.
 До дна промерзшая Лета.
 Консервированная История.
 Род человеческий в брикетах.
 Кастановый
 лед, смерзшийся помоями.
 В нем тонущий. (Дерьмо, по-моему.)
 «Бог помощи!» — скорбно я изрек.
 Но побледневши: — «Помощь — Бог», —
 поправила экскурсовод.
 Лед
 тыща девятьсот сорок распадный.
 Полет. Полет. Полет. Полет. Полет.
 И в баре бледный пилот:
 «Без льда, — кричит, — не надо, падло!»
 Он завтра в монастырь уйдет.
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 Прозрачно, как анис червивый,
 замерзший бюрократ в чернильнице
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 искусственный
 горячий лед пустых дискуссий.
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 Лед тыща девятьсот шестьдесят пятый,
 все в синих болоньях красивые,
 в троллейбусы целлофановые вмяты,
 как свежемороженые сливы,
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
 зеркало мод.
 Камзол. Парик. Колготки. Шлейф кокетки.
 Зад скрыт, а бюст — наоборот.
 Год, может, девятьсот какой-то?
 А может — тыща восемьсот!
 — лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Льдина вторая

Лед тыща девятьсот хоккейный.
 Фирс — гений!
 Игра «кто больше не забьет».

Счет (—3): (—18).

Вратарь елозит на коленях
с воротами, как с сетчатым сачком,
за шайбочкой. А та — бочком, бочком!
Класс!

В глаз. В рот. Пасс. Бьет! Гол!! Спас!!! Ас. Ась?
Финт. Счет? Вбит. В лед.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Захлопала экскурсовод
и ключик выронила. Ой!

Я поднял. (В шестьдесят девятый
летели лыжники, как ватой,
объяты Кольскою зимой.)

Она повисла на запястье:

«Я вас прошу! Там нет запчастей...

Не нажимайте! В этом марте...»

Но поздно. Я нажал. Она
разжала пальцы: «Вновь вина
и снова — ваша», — сказала
и в лед, как ящерица, скользнула.

(Сквозь экран в метель летели лыжники,
вот одна отбилась в шапке рыженькой.

Оглянулась. Снегом закрутило
личико калмыцкое ее.)

Господи! Да это ж Катеринка!

Катеринка, преступление мое.

Потерялась, потерялась Катеринка!

Во поле, калачиком, ничком.

Бросившие женщину мужчины
дома пробавляются чайком.

Оступилась, ты в ручей проваливаешься.

Валенки во льду, как валуны.

Катеринка, стригунок, бравадочка,
не спасли тебя «Антимиры»!

Спутник тебя волоком шарашит.

Но кругом метель и гололедь.

Друг из друга сделавши шалашики,

чтобы не заснуть и обогреть,
ты стихи читаешь, Катеринка.
Мы с тобой считали: «Слово — Бог».
«Апельсины, — шепчешь, — апельсины...»
Что за Бог, когда он не помог!

Я слагал кощунственно и истово
этих слов набор.
Неотложней мировые истины:
«Помощь». «Товарищи». «Костер».
И еще четвертая: «Мерзавцы».
Только это все равно уже тебе.
Задышала. Замерла. По замерзает
строчка Мэрлин на обманутой губе.

.....
Вот и все. Осталась фотокарточка.
С просьбою в глазу.
От которой, коридором крадучись,
я остаток жизни прохожу.

Эпилог

Утром вышла девчонкой из дому,
а вернулась рощею, травой.
По живому топчем, по живому —
по живой!

Вскрикнет тополь под ножом знакомо —
по живому!

По тебе, выходит, бьют патроны,
тебя травят химией в затонах,
от пее, сестра твоя и ровня,
речка извивается жаровней.

Сжалась церковь под железным ломом —
по живому,
жгут для съёмок рыжую корову,
как с глазами синими солону, —
по живому!

Мучат не пейзажную картинку —
мучат человека, Катеринку.

«Лес, пусти ее хоть к маме на каникулы!»
«Ну, а вы детей моих умыкивали?
Сами режут рощу уголовно,
как под сердце жеребенку луговому —
по живому!»

Плачет мое слово по-земному,
по живому, по еще живому.

* * *

Есть холмик за оградой Востряковской,
над ним портрет в кладбищенском лесу.
Спугнувши с фотографии стрекозку,
тетрадку на могилу положу.

Шевелит ветер белыми листьями,
как будто наклонившаяся ты —
не Катеринка, а уже Светлана —
мои листаешь нищие листы.

Листай же мою жизнь, не уповая
на зряшные жестяные слова...
Вдруг на минутку, где строка жилая, —
ты тоже вдруг становишься жива.

И говоришь, колясь в щеку шерстинкой,
остриженная моя сестричка,
ты говоришь: «Раз поздно оживить,
скажи про жизнь, где свежесть ежевик,
отец и мама — как им с непривычки?
Где Джой прислушивается к электричке,
не верпт, псина. Ждет шагов моих».
И трогаешь последнюю страничку
моей тетрадки. Кончился дневник.

* * *

Светлана Борисовна, мама Светланы,
из Джонной шерсти мне шапку связала,

связала из горечи и из кручины,
такую ж, как дочери перед кончиной.

Нить левой сучила, а правой срезала,
того, что случилось, назад не связала...

Когда примеряла, глаза отвела.
Всего и сказала: «Не тяжела?»

Ледовый эпилог

Лед, лед растет неоплатимо,
вину всеобщую копя.
Однажды прорванный плотниной
лед выйдет из себя!

Вина людей перед природой,
возмездие вины иной,
Дахау дымные зевоты
и капля девочки одной
и социальные невзгоды
сомкнут над головою воды —
не Ной,
не Божий суд, а самосуд,
все, что надышано, накоплено,
вселенским двинется потопом.
Ничьи молитвы не спасут.
Вы захлебнетесь, как котята,
в свидетельствовании нечистот,
вы, деятели, коптящие
незащищенный небосвод!

Вы, жалкою толпой обслуживающие патронов,
свободы, гения и славы палачи,
лед тронется
по-апокалиптически!

Увы, падменные подонки,
куда вы скроетесь, когда
потопом
сполощст ваши города?!

Сполоснутые отечества,
сполоснутый балабол,
сполоснутое человечество.
Сполоснутое собой!

И мессиански и судейски
по возмутившимся годам

двадцатилетняя студентка
пройдет спокойно по водам.

Не замочивши лыжных корочек,
последний обойдет пригорочек
и поцелует, как детей,
то, что звалось «Земля людей».

P. S.

«Человек не имеет права освобождать себя от ответственности за что-то. И тут на помощь приходит Искусство... Красота не только произведение искусства, природы, но и красота жизни, поступков. Меня и биология интересует больше с гуманитарно-философской точки зрения».

(Из сочинения Светланы Поповой)

P. P. S.

На асфальт растаявшего пригорода
сбросивши пальто и буквари,
девочка
в хрустальном шаре
прыгалок
тихо отделилась от земли.

Я прошу шершавый шар планеты,
чтобы не разрушил, не пронзил
детство обособленное это,
новой жизни
радужный пузырь!

Такое же — и все другое

Нам аукнутся со звоном
эти несколько минут —
с молотка аукциона
письма Пушкина идут.

Кипарисовый Кипренский...
И, капризней мотылька,
болдинский набросок женский
ожидает молотка.

Ожидает крика «Продано!»
римская наследница,
а музеи милой родины
не мычат, не телятся.

Неужели не застонешь,
дом далекий и река,
как прижался твой найденыш,
ожидая молотка?

И пока еще по дереву
не ударит молоток,
он на выручку надеется,
оторвавшийся листок!

Боже! Лепестки России...
Через несколько минут,
как жемчужную рабыню,
ножку Пушкина возьмут.

Пейзаж с озером

В часу от Рима, через времена,
растет пейзаж Сильвестра Щедрина.
В Русском музее копию сравните —
три дерева в свирельном колорите.
(Метр — ширина, да, может, жизнь — длина.)
И что-то ощущалось за обрывом —
наверно, озеро, судя по ивам.

Как разрослись страдания Щедрина!
Им оплодотворенная молитвенно,
на полулокте римская сосна
к скале прижалась, как рука с палитрой.
Машину тормозили семена.
И что-то ощущалось за обрывом —
иное озеро или страна.

Сильвестр Щедрин был итальянский русский,
зарыт подружкой тут же под церквушкой.
Метр — ширина, смерть — как и жизнь странна.
Но два его пейзажа — здесь и дома —
стоят, как растопырены ладони,
меж коими вязальщицы событий
мотают наблюдающие нити —
внимательные времена.

Куплю я нож на кнопке спичечной,
отрежу дерна с черной сердцевинкой,
чтоб в Подмосковье пересажена,
росла трава пейзажа Щедрина.

Чтоб, если грустно или все обрыдло,
открылись в Переделкине с обрыва
иное озеро или страна.
Небесные немедленные силы
не прах, а жизнь его переносили —
жила трава в салоне у окна.

Мы вынужденно сели в Ленинграде.
«В Русский музей успею?» — «Бога ради!»
Вбежал — остолбенел у полотна.
Была в пейзаже Щедрина Сильвестра
дыра. И дуло из дыры отверстой.
Похищенные времена!

И в моей стране и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране и в твоей стране.

И в одной цене, — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоём вранье и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране и в моей стране.

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат.

И многие не потому ли —
как к отпущению грехов —
стоят в почетном карауле
за томиком ее стихов?

«Прибавьте тиражи журналам», —
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!

Все реже в небесах бензиновых
услышишь журавлиный зов.
Все монолитней в магазинах
сплошной Василий Журавлев.

Страна поэтами богата,
но должен инженер копить
в размере месячной зарплаты,
чтобы Ахматову купить.

Страна желает первородства.
И, может, в этом добрый знак —
Ахматова не продается,
не продается Пастернак.

Подайте искристого
к баранине.
Подайте счет.
И для мисс —
цветы.
Подайте Игоря Северянина!
Припосят выцветшие листы.

Подайте родину
тому ревнителю,
что эти рукописи хранил.
Давно повывелись
в миру чернильницы
и нет лиловых
навзрыд
чернил.

Подайте позднюю
надежду памяти —
как консервированную сирень, —
где и поныне
блатные Бальмонты
поют над сумерком деревень.

Странна «поэзия российской пошлости»,
но нету повестей
печальней сих,
какими родина
платила пошлости
за вкус
Бакуниных и Толстых.

Поэт стареющий
в Терюках

на радость детям
дремал,
как Вий.

Лицо — в морщинах,
таких глубоких,
что, усмехаясь,
он
мух давил...

Поэт, спасибо
за юность мамину,
за чувство родины,
за розы в гроб,
за запоздалое подаяние,
за эту исповедь —
избави Бог!

Несутся энтузиасты
на горе мальтузианству.
Человечество увеличивается
в прогрессии лирической!

(А Сигулда вся в сирени,
как в зеркала уроненная,
зеленая на серебряном,
серебряная на зеленом.)

В орешнях, на лодках, на склонах,
смущающаяся, грешная,
выводит свои законы
лирическая прогрессия!

Приветик, Трофим Денисычи
и мудрые Энгельгардты.
 $2=1>3\ 000\ 000\ 000!$

Рушатся Римы, Греции.
Для пигалиц обнаглевших
профессора, как лешие,
вызубривают прогрессию.

Ты спросишь: «А правы ль данные,
что сердце в момент свидания
сдвигает 4 вагона?»
Законно! Законно! Законно!

Танцуй, моя академик!
Хочет до понедельника
на физике погоревшая
лирическая прогрессия!

Грозит мировым реваншем
В сиренях повызревавшая —
кого по щеке огревшая? —
лирическая агрессия!

267 Такое же —

и все другое

Зачем из Риги плывут миноги
к берегам Канады, в край прародителей?
Не надо улиц переименовывать.
Постройте новые — и назовите.

Здесь жили люди. И в каждом — чудо.
А вдруг вернуться, вспомнив Неву?
Я никогда Тебя не забуду.
Вернее — временно, пока живу.

Я год не виделся с тобою.
Такое же все — и другое.

Волнение и все другое
такое же — и все другое.

Расспросов карие укоры —
такое же — и все другое.

Лицо у зеркала умою —
такое же — и все другое.

Окно, покрашенное мною,
такое же — и все другое.

Прогонят стадо к водопою
такое же — и все другое.

Ночное небо, как при Ное,
такое же — и все иное.

Ты — жизнь! Приблизись — окажешься
ты неожиданно такая же.

Лесная малица

Мало я в жизни успел быстротечной.
Мало любил вас, друзья и красавицы.
Мало я пил из вас, русские малицы —
эти источники чистосердечные.

Чистосердечна, чистосердечна
эта ладошка воды под обрывом.
Чистосердечная соотечественница.
роща с тобой не договорила.

С чистосердечной этой печалью
быстро снуют паутинки пространства,
что-то к одежде твоей пришивая,
в тайной надежде с тобой не расстаться.

Утица, сбита камнем туриста,
 билась в волне.
 На руки взял я строптивую птицу.
 «Что же творится?» — подумалось мне.

С ношею шел я в ночи и позоре.
 Мне попадались стада и дома.
 Их ли вина, что на первах мозоли?
 «Что же творится?» — не шло из ума.

Клювом исколот я был, как Рахметов.
 Теплая тяжесть жалась к душе.
 Было до города пять километров.
 Фельдшер жила на втором этаже.

Вдруг я узнал в незнакомой квартире
 каждую комнату, как укор.
 Прошлой зимою тебя прихватило.
 Тебя приводил я сюда на укол.

Та же в дверях фельдшерница со шприцем.
 Та же подушка в разбитом окне.
 Я, как убийца, протягивал птицу.
 «Что же творится?» — думалось мне.

Часы посещения

Памяти Б. С.

Привинченный к полу,
за третьей дверью,
под присмотром
бодрствующих старух, —
непоправимая наша вера,
пленный томится
Дух.

Самые бронированные —
самые раннимые —
самые спокойные
напоказ...
Вынуты из раковины
две непоправимые
замученные
жемчужины
серых глаз.

Всем дававший помощь,
а сам беспомощный,
как шагал уверенно в ресторан!..
То, что нам казалось
железобетонцем,
оказалось коркою
свежих ран.

Лежит дух мужнины на казенной простыне,
внутренняя рана —
чем он был, оказывается...
Ему фрукты несут,
как прощенья просят.

Он отказывается.

1977

Для всех — вне звезд, вне митр, вне званий —
 Андреем Дмитриевичем был.
 Мы потеряли Первозванного,
 что совестью страну святил.
 Он первым произнес все заново.
 Тезка крестителя Руси.
 Как мало избранных меж званых...
 Господи, страну спаси!

Душа — это сквозняк пространства
меж мертвой и живой отчизн.
Не думай, что бывает жизнь напрасной,
как будто есть удавшаяся жизнь.

Виснут шнурами вечными
лампочки под потолком.
И только поэт подвешен
на белом нерве спинном.

275 Такое же —
и все другое

Перед рассветом

Незнакомая, простоволосая,
застучала под утро в стекло.
К телефону без голоса бросилась.
Было тело его тяжело.

Мы тащили его на носилках,
угол лестницы одолев.
Хоть душа упиралась — насильно
мы втокнули его в драндулет.

Перед третьими петухами,
на исходе вторых петухов,
чтоб сознание не затухало,
словно «выход» зажегся восход.

Как божественно жить, как нелепо!
С неба хлопья намокшие шли.
Они были темнее, чем небо,
и светлели на фоне земли.

Что ты видел, летя в этой скорби,
сквозь поломанный зимний жасмин?
Увезли его в город на «скорой».
Но душа не отправилась с ним.

Она пела, к стенам припадала,
во вселенском сиротстве малыш.
Вдруг опомнилась — затрепетала,
догнала его у Мытищ.

Знай свое место, красивая рвань,
хиппи протеста!
В двери чуланные барабань,
знай свое место.

Я безобразить тебе запретил.
Пьешь мне в отместку.
Место твое меж икон и светил.
Знай свое место.

Я не приеду к тебе на премьеру —
видеть, как пристальная толпа,
словно брезгливый портной на примерке,
вертит тебя, раздевает тебя.

В этом есть что-то от общей молельни.
Потность хлопков.
Ну а потом в вашей плюшевой мебели
много клопов.

Не призываю питаться акридами.
Но нагишом алым лолам в клешню?!
Я ненавижу в тебе актрису.
Чтоб ты прикрылась, корзину пришлю.

Я ошибся, вписав тебя ангелам в ведомость.
Только мы с тобой знаем — из какой ты шкалы.
И за это твоя дальнобойная ненависть
меня сбросила со скалы.

Это теоретически невозможно.
Только мы с тобой знаем — спасибо тебе, —
как колеса мои превратились в восьмерки,
как злорадна усмешка у тебя на губе.

Только мы с тобой знаем: в моих новых расплатах
(я не зря подарил тебе малахит) —
есть отлив твоего лилового взгляда.
Что ж, валяй! Я прикинусь, что я мазохист.

И за это за все — как казнят черпокнижницу —
привезу тебя к утреннему крыльцу,
погляжу в дорогие глаза злоумышленницы,
на прощанье губами перекрещу.

Отравившийся кухонным газом
вместе с нами встречал Рождество.
Мы лица не видали гаже
и синее, чем очи его.

Отравила его голубая
усыпительная струя,
душегубка домашнего рая,
несложившаяся семья.

Отравили квартиры и жены,
что мы жизнью ничтожной зовем,
что взвивается преображенно,
подожженное Божьим огнем.

Но струились четыре конфорки,
точно кровью дракон истекал,
к обезглавленным горлам дракона
человек втихомолку припал.

Так струится огонь Иоганна,
искушающий организм,
из надпиленных трубок органа,
когда краны открыл органист.

Находил он в отраве отраду,
думал, грязь синевой зацветет;
так в органах — как в старых ангарах
запредельный хранится полет.

Мы ль виновны, что пламя погасло?
Тошнота остается одна.
Человек, отравившийся газом,
отказался пригубить вина.

Были танцы. Он вышел на кухню,
будто он танцевать не силен,
и глядел, как в колонке не тухнул —
умирал городской васплек.

Грех

Я не стремлюсь лидировать,
где тараканьи бега.
Пытаюсь реабилитировать
вокруг понятие греха.

Душевное отупение
отъевшихся кукарек —
это не преступление —
великий грех.

Когда осквернен колодец
или Феофан Грек,
это не уголовный,
а смертный грех.

Когда в твоей женщине пленной
зарезан будущий смех —
это не преступление,
а смертный грех...

Но было б для Прометея
великим грехом — не красть.
И было б грехом смертельным
для Аннушки Керн — не пасть.

Ах, как она совершила
его на глазах у всех —
Россию завороживший
бессмертный грех!

А гениальный грешник
пред будущим грешен был
не тем, что любил черешни,
был грешен, что — не убил.

Как заклинание псалма,
безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма:
«Wobulimans» — «Вобюлиманс».

«Родной! Прошло осьмнадцать лет,
у нашей дочери — роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
P. S. Не удался пасьянс».

Мелькнет трэфовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнется пистолет.
Вобюлиманс — С нами любовь.

Но жизнь идет наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И всё Россия не поймет:
С нами любовь — Вобюлиманс.

Когда написал он Вяземскому
с искренностью пугавшей:
«Поэзия выше нравственности»,
читается — «выше вашей»!

И Блок в гробовой рубаше
уже стоял у порога
в ирреальную иерархию,
где Бог — в предвкушение Бога.

Тот Бог, которого чувствуем
мы нашей людской вселенной,
пред Богом иным в предчувствии
становится на колени.

Как мало меж званых избранных,
и нравственно и душевно,
как мало меж избранных искренних,
а в искренних — предвкушенья!

Работающий затворником
поэт отрешен от праха,
но поэт, что работает дворником,
выше по иерархии!

Розу люблю иранскую,
но синенький можжевельник
мне ближе по иерархии
за то, что цвести тяжелее.

А вы, кто перстами праздными
поэзии лезет в раны, —
вы прежде всего безнравственны,
поэтому и бездарны.

Пароход прогулочный вышел на свиданье
с голою водой.

Пароход работает белыми винтами.
Ни души на палубе золотой.

Пароход работает в день три смены.
Пассажиры спрятались от шума дня.
Встретили студенты под аплодисменты
режиссера модного с дамами двумя.

«С кем сменю каюту?» — барабанят дерзко.
Старый барабанщик, чур не спать!
У такси бывает два кольца на дверцах,
а у олимпийцев их бывает пять.

Пароход воротится в порт, устав винтами.
Задержиесь, любимый, на пять минут!
Пароход свиданий не ждут с цветами.
На молу с дубиной родственники ждут.

Тетку в шубке знал весь городок.
Она в детстве нас пугала ссыльными.
Тетя крест носила и свисток,
чтобы вдруг ее не изнасиловали.
Годы шли. Ее не изнасиловали.
Не узнала, как свистит свисток!
И ее и шубы срок истек.
Продали каракуль черносливный,
где, как костка, продран локоток.

Я подбираю палую вишню,
падшую Аннабел Ли.
Как ты лежала в листьях прогнивших,
в мухах-синюхах,
скотиной занюхана,
лишняя Аннабел Ли!
Лирика сдохла в пыли.
Не понимаю, как мы могли
пять поколений искать на коленях,
не понимая, что околели
вишни и Аннабел Ли?!

Утром найду, вскрыв петуший желудок,
личико Аннабел Ли.
Как ты лежала чутко и жутко
вместе с личинками, насекомыми,
с просом, заглотанным медальоном,
непереваренная мадонна,
падшая Аннабел Ли!
Шутка ли это? В глазах моих жухлых
от анальгина нули.
Мне надоело круглые сутки —
жизни прошли! —
в книгах искать, в каннибальских желудках
личико Аннабел Ли.

Не «Отче наш», не обида, не ужас
сквозь мостовую и стужу ночную,
первое, что осенило, очнувшись:
«Чувствую — стало быть, существую».

А в коридоре больничном, как в пристани,
не протестуя, по два на стуле,
тесно сидели суровые истины —
«Чувствую — стало быть, существую».

Боли рассказывают друг другу.
«Мать, — говорю, — подверни полотенце».
Няичит старуха кормилицу-руку,
словно спеленатого младенца.

Я за тобою, мать малолетняя,
я за тобой, обожженец вчистую.
Я не последний, увы, не последний...
Чувствую — стало быть, существую.

«Сын, — утешают, — ключица не бознать что...»
Звякнул прибывшему термосом с чаем.
Тоже обходятся без обезболивающего.
Так существуем, так ощущаем.

Это впадает народное чувство
из каждодневной стихии — в другую...
Этого не рассказал Заратустра —
«Чувствую — стало быть, существую».

Пусть ты расшибся, завтра из гипса
слушая первую птицу земную,
ты понимаешь, что не ошибся —
чувствую — стало быть, существую!

Ты подойдешь для других незаметно.
Как ты узнала в разлуку такую?
Я поднимусь — уступлю тебе место.
Чувствую — стало быть, существую.

(на мотив В. Смита)

Держу я твои кости тазовые —
после падения,
мне рентгенолог их показывает, —
как держат треснувшую вазу.
Он — парень дельный.
Но память понимать отказывается.
Она, балдея,
зовет виденья неотвязные —
как мы лежали в роще вязовой
в тот понедельник.
Мы были фразами, запястьями,
смеялось тело и гудело,
меня руками опоясывая,
была ты худенькой кудесницей.
Лес повторял священнодействие.
И без набедренных повязок
летели навзничь сосен тени.
Что предвещало их падение?
Ушла ты, бедрами покачивая,
заколки затыкая в голову,
чтобы назавтра в «помощь скорую»
тебя втолкнули по-багажному.
И все, что было жарким, спелым,
шумело лиственной легендой,
предстало снимком черно-белым
в лучах рентгена.
А может, это фото духа,
что обретает форму таза?

Но невозможно видеть глазу,
что слышит внутреннее ухо.
В ночном объятии простынок
лежишь в постели.
Она — как выбеленный снимок

лежанок рощ, что мы имели.
Ты выздоравливаешь, женщина
с такою хрупкою начинкой.
Мне снится болевая трещина,
которая светла на снимке.
И сквозь небытие и темень
ты обалденно
бежишь ко мне счастливым телом —
как в тот пречистый понедельник
перед паденьем.

Если жизнь облыжная вас не дарит дланями —
помогите ближнему, помогите дальнему!

Помогите встречному, все равно чем именно.
Подвезите женщину — не скажите имени.

Не ищите в Библии утешенья книжного.
Отомстите гибели — помогите ближнему.

В жизни чувства сближены, будто сучья яблони,
покачаешь нижние — отзовутся дальние.

Пусть навстречу женщине, что вам грусть
доставила,
улыбнутся ближние, улыбнутся дальние.

У души обиженной есть отрада тайная:
как чему-то ближнему, улыбнуться —
дальнему...

На обратной стороне Земли,
как предполагают, в год Змеи,
в частной типографийке в Лонг-Айленде
у хозяйки домика и рифа
я печатал автолитографии,
за станком, с семи и до семи.
После нанесения изошрифта
два немногословные Сизифа —
Вечности джинсовые связисты —
уносили трехпудовый камень.
Амен.

Прилетал я каждую субботу.
В итальянском литографском камне
я врезал шрифтом наоборотным
«Аз» и «Твердь», как принято веками,
верность контролируя в зеркало.
«Тьма-тьма-тьма» — врезал я по овалу,
«тьматьматьма» — пока не проступало:
«мать-мать-мать». Жизнь обретала речь.
После оттиска оригинала
(чтобы уникальность уберечь)
два Сизифа, следуя тарифу,
разбивали литографский камень.
Амен.

Что же отпечаталось в сознание?
Память пальцев и тоска другая,
будто внял я неба содроганье
или горних ангелов полет,
будто перестал быть чужестранен.

Мне открылось, как страна живет —
мать кормила, руль не выпускала,

тайная Америки святая,
и не всякий песнь ее поймет.
Черные грузили лед и пламень.
У обеих океанских вод
США к утру сушили плавки,
а Иешуа бензозаправки
на дороге разводил руками.

И конкистадор иного свойства,
Петр Великий иль тоскливый Каин,
в километре над Петрозаводском
выбирал столицу или гавань...
Истина прощалась с метафизикой.
Я люблю Америку создання,
где снимают в Хьюстоне Сизифы
с сердца человеческого камень.
Амен.

Не понять Америку с визитом
праздным рифмоплетам назидання,
лишь поймет сообщник созидання,
с кем преломят бутерброд с вязигой
вечности усталые Сизифы,
когда в руки въелся общий камень.
Амен.

Ни одно- и ни многоэтажным
я туристом не был. Я работал.
Боб Раушенберг, отец поп-арта,
на плечах с живой лисой захаживал,
утопая в алом зоопарке.
Я работал. Солнце заходило.
Я мешал оранжевый в белила.
Автолитографии теплели.
Как же совершилось преступленье?
Камень уничтожен, к сожаленью.
Утром, нумеруя отпечаток,
я заметил в нем — как крыл зачаток, —
оттиск смеха, профиль мотыльковый,

лоб и кос, похожие на мамин.
Может, воздух так сложился в складки?
Или мысль блуждающая чья-то?

Или дикий ангел бестолковый
зазевался — и попал под камень?..
Амен.

Что же отпечаталось в хозяйке?
Тень укора, бегство из Испании,
тайная улыбка испытаний,
водяная, как узор Гознака.
Что же отпечаталось во мне?
Честолюбье стать вторым Гонзаго?
Что же отпечаталось извне?

Что же отпечатается в памяти
матери моей на Юго-Западе?
Что же отпечатает прибой?
Ритм веков и порванный «Плейбой»?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь для хора и ракушек пеня»?
Что же в океане отпечаталось?
Я не знаю. Это знает атлас.
Что-то сохраняется на дне —
связь времен, первопечаль какая-то...
Все, что помню — как вы угадаете, —
только типографийку в Лонг-Айленде,
риф, и исчезающий за ним
ангел повторяет профиль мамин.
И с души отваливает камень.

Аминь.

Погадай, возьми меня за руку,
а взяла — не надо гадать...
Все равно — престол или каторга —
ты одна моя благодать!

Бог — с тобой, ты — создание Бога.
И, пускай он давно не со мной,
нарисована мне дорога
по ладони твоей золотой.

Ты одна на роду написана.
Но читать подождем.
А отклонится линия жизни —
я ее подправлю ножом.

Никогда

(на мотив В. Смирна)

Я тебя разлюблю и забуду,
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду,
голубые, как яйца дрозда.

Когда мышь прокричит «кукареку».
Когда дом постоит на трубе,
когда съест колбаса человека
и когда я женюсь на тебе.

Берегите заик!

Залог поэмы

— Отпустите тормоза!

— Я за

(за-а-а-пойный, но за-арекаюсь)

Я знамя Заратустры

(за икс свободы!! за иго счастья!

за Икшей хаус...)

Я заикаюсь.

— Всех в «Икарус»!

— Среди задержанных есть потц со знаменем.

— Задержка подсознания.

I

Берегите заик! В них восторг заикания.

В них Господь говорит в прозаический миг.

Они — праязыческие могикане.

Берегите заик!

Берегите заик. На пластинке заигранной
есть щербинка, заминка... В бензинный час-пик
я полжизни отдам за лошадное: «И-и гого!»
Берегите заик.

Помню Вас в пиджачке из бумаги оберточной.
Гениальный заика Вы стали, когда
так Вы самоубийственно, Николай Робертович,
заикнулись о времени в пьесе «Мандат».

II

Урны заикаются: за! за!

Битлы заикаются: е-е!

Лебедь заикается: еб! еб! еб!
Зайцев заикается в ателье.
Музыка мучается: му-му.
Банки заикнулись: нули, нули.
Россия демократию симули...
Иконы заикаются на Христе.
XX век заклинился на букве х...
Месячные задерживаются за январь.
Ура задерживается в руднике.
Мы подзадержались по дорожке в Ра
Ра содержится в языке.

Тампакс заикается: там, там.
Пушкин в майском жужжит: жу.
Где же ваши души, Оте и Ма ?
Ду находится в языке.

Хаос мне выдавливает глаза.
Я за

III

Жил регбист. Он со школьницей в нашем клоповнике
Танцевал. Огляпулся. Отнялся язык.
В дверях Берия был, ее грозный любовник.
Берегите заик...

Медный всадник споткнулся диким ликом и
задницей —

берегитесь заик!
За углом карбюратором заикается
михоэловский грузовик.

Пощадите заику. Одноомиллионного
от лечебных вериг
пощадите — хоть самого изумленного,
одного из заик!

Не гоните изгоя. В его горле нарывы.
Неязычную Ригу
не корите акцентом. Драгоценность наива
сохраните — заику!

Сохраните заику, потому что заика —
последний индивидуалист.

Не размазывайте по стенке
нас, российские Ньюсуики,
сохраните в себе языка застенчивость,
сохраните в себе заику!

Не в Сбербанке хранит свои яйца страус —
вся пустыня — тайник.
Я, читая стихи, иногда заикаюсь,
когда Бог посещает их.

Заики — сегодняшние поэты.
Не лечите заик. Им доступно одним
сказать о нашествии блендомеда:
«Блин!»

VI

Инженер Заикин
не рожден великим.

Он сказал: «за Роди... — но война закончилась —
...и ну!»
(начали новую войну).

Поднял тост: «за Ста... — но не стало кормчего.
Он мечтал о пончо, но стоял за пончиками.
Он сказал: «япо...», но не нашли Япончика.
Он сказал: «Мавро...». Ему ответили: «МММ».

Он не за импичмент.
Сноб, но не тряпичник.
Очень мазаичен
инженер Заикин.

В уик-энд оттягивался.
Что для всех уик-энд,
на квартал растягивал
для себя Заикин.

Взял билет на Зыкину — попал на «Титаника».
Говорят Заикину: «Ваше место занято».

Был в любви он сдержанный. Умирали женщины.
Начинал при Брежневе, а кончал при Ельцине.

Бабушка Заикина, она же его внучка,
была киноактрисой. Жил сладко, как тятючка.

Умер после дринка. Полетел он на небо.
Говорят Заикину: «Ваше место занято».

В ад спустился, хныкая.
«Бронь для членов саммита, —
говорят Заикину, — Ваше место занято».

Возвратился заново к нам он, горемыкам.
В нас живет он, Аника — инженер Заикин.

VII

Россия начинается с языка,
чинариком, песенкой под з/к.
Что шло кофейнею игровой —
ударит феней по Старовой...
Для исследования наших бед
нужен не следователь, а логопед.

Шоссе Эклезиастов. На углу.
В блуджинсах ждет глазастый д-р Блу.
Он слышит внутренние голоса
в биокomпьютере. Колосса...

Ломоно Наполео Велик Ека
живут в содержании языка.

Застопорился Севастополь: стоп, стоп, стоп...

Зубная паста в ТВ никак
не выговарит: «Пастернак».

И сперма, несущаяся в водопровод,
«Лермонтов» не произнесет.

Картуз летает на козырьке.
Россия — на языке.

Тусовка заикается: туза! туза!
Я за
горизонт, как в Атлантике на доске,
летаю на языке.

VIII Пролог

Сон Заикина:
я-я-я-я-я-я-я-я-я-зык
удлиня-я-я-я-я-сь, как тещин, ползет через
Я-я-я-киманку
и уже Твоего подъезда достиг.

Вдруг — Уазик!
Вжик!..

Оппонентом у Блу был доктор Ублю.
Я его не люблю. Но рука резка —
удаляет он «я» из языка.

Был Маяковский —
стал Маковский.

Был боярин —
стал Борин.

Свою роль
забыл рояль.

Чтобы Ты, бля, не грустила
почитай бл. Августина!

Маета
без мата.

Не ел Блок
евипых яблок.

СМИ — не смена
тебе, Несмелна.

Боксер рассказывал, сняв напряг:
«я его — ху к, хук, хук...
а он меня — ху к, хук, хук...»

Не теряйте свое «я».

Утеряли —

Вас утерли.

Бредовые ваятели

ушли в преподаватели.

— Как жизнь, Божий раб заяц?

— Полный абзац.

Президент Стоянов

сказал без стонов:

«Идиотов бы поубрать вдвойне

и в твоей стране и в моей стране...»

— У, братья...

Проза просит у метро.

— Я за

— Я про

— Вы против

балтийских шпротов?

— Я против,

что такую страну испортив...

— Я против падения ру(бля).

Крысы бегут из Кремля.

— Вы в Ниццу?

IX

Пока волки каялись — съели зайца.

Апокалипсис — просто компьютерный сдвиг.

Расквитавшись за все, в двух нулях заикается

Иго умных заик.

Не желает в будущее компьютер:

«Компью, компью, компью...»

Возвращает нас всех беспощадно, как Лютер,

к пещере или копыю.

Но мне все не икается — как ни пью.

И биокомпьютер: храплю, храплю...

Коплю, коплю, коплю —

но все тысяча девятьсот.

Краплю, краплю, краплю — но все не везет.

Х

19.00. Забастовка компьютеров.

Наши мысли бастуют толпой ледяной.

Прости, Господи, наши грехи обоюдные!

И в Москве, и в Нью-Йорке, и в Хосавюрте —

19.00. 19.00.

Наши мысли нам мстят, эти нолики лютые.

Мы отторгнули их от юдоли родной.

Эти нолики нас, как кольчуга, опутали.

Угрожают войной, лилипуты распутные,

и к тебе пристают. 19.00.

Мы вылазим из нор. Ошибемся женой.

Счет пошел на минуты. Как «Титаник» каютный,

пошел под воду Ной. 19.00.

Тысяча девятьсот — год неясно какой.

Мы с тобой — перегной

ангельских печистот перегар неземной.

Нас никто не спасет. Пересчет валютный:

«Тысяча девятьсот — 19.00».

Нам нуля не хватает в нашей жизни дрянной.

Ты прекрасно, мгновенье, чтоб остановиться!

Пронесясь над Москвой,

девятнадцатиплетняя самоубийца

шмякнет след кровавой.

19 — 00.

Тысяча девятьсот — навсегда никакой.

Два ствола за спиной — на всю жизнь выходной.

Не минуты — а маленькие малюты,

они — «нолита!» — пьют, они требуют брюта.

Жду Тебя. Уже год 19.00.

.....

Тысяча девятьсот. Отменен Апокалипсис.
Ты не врешь, «Макинтош».
Лжепророки покались.
Все осталось как было.

Вдруг Заикин заговорил.

XI

Заикин заговорил.

Обнаружили англичане.
Как будто вулкан Курил,
Великий Молчун печали
Заикин заговорил.

Язык его — гоп со смыком
помножен на дыл-бул-щир.
Фурыкает наш Заикин.
Заикин заговорил.

Что тысячи лет молчало —
заяц, тоска, арыки —
мычало, правду мочалило,
читало стихи Мочадо,
орало через Заикина.

Заикин вошел в компьютер.
Во лбу его глаз горит.
Мы без него бы скопутились!
Пусть поговорит.

Мы были страпой молчалиников.
Теперь вопит что есть сил
страна выкипающих чайнников.
Заикин заговорил.
Полгорода обварил.

В речах его воскресали,
как в кипятке цветы,
убитые им красавицы,
и тысячи раз — Ты.

Слова посылал голубятник
по имени Гавриил.
Певцы безголосо клубятся,
умолк капитан Лебядкин.
Заикин заговорил.

В словах неслись без пижамы
от гения до юнца.
Женщины любят ушами —
не предохраняются.

Живая вода — из крана.
Повесился некрофил.
На всех телеэкранах
Заикин заговорил.

Осел орет Буриданов.
Как депутат сивилл,
от имени пуританов
Заикин заговорил.

Молчат канонады НАТО.
Заику мочи, зопл!
Отдыхайте! Шахерезаду
Заикин заговорил.

Компьютер пьет аварийно
за тысячу девятьсот.
Идет поток говорильни.
Заикина несет.

Звезда говорит со звездой.
История — спор светил.
Вернувшийся в «Асторию»
Есенин заговорил.

Чайка кричит Чайковским.
Вопили жильцы могил.
Не поняли ничегошеньки.
А он говорил, говорил...

Народ обожал Заикина:
«Он Рюрика превзошел.

Он новый варяг! он викинг!
Заикина на престол!»

Ответ его был корявым,
но скромным был в стиле вьюг.
«Не нужно, честно говоря,
говоряговоря, говоря — варяга,
чтоб спастись — говорю, говорюговорюговорю —
от ворюг...»

* * *

А мы, мой резвый читатель,
пока он заговорил,
расслабимся. Помечтайте!
Я фрезии вам купил.

Лети без меня, «Икарус»,
жги тормоза!

— Док, мы обустроим хаос?
— ДОКТОР: я за

XII

Каждый сотый в нашей стране — заика.
Наш невнятен язык.

Заикающаяся зарница
мигает, как Божий миг.

Кто вас там заказал, миллиардных Техаса,
тихий книжник, считавший, что он Бенья Крик?
Я читаю стихи, я за вас заикаюсь.
Я молюсь за заик.

Берегите заик!

Гадание по книге

У адского края, где рушатся стены,
не понимая, цветет цикламена,

не понимая, не понимая,
что жить остается так минимально,
доверчивой трубкою детского ротика
цветет целомудренная эротика.
Букашка на щечке щекочет, как родинка,
не понимая, что рушится родина.
Иль то, что не знаем, поняв сокровенно?

Цвети, цикламена!

а с утра внезапно по его просьбе
остригись наголо. И сожги волосы.

Отпусти, Господи, ей грехи молодости!
И прости волосы.

Мордеем, друг. Подруги молодеют.
Не горячитесь.
Опробуйте своей моделью,
как «анти» превращается в античность.

Шло убийство

Шло убийство по шумной Битце,
шло, жуя пирожок незло.
Вы заказывали убийство?
Шло убийство. Убийство шло
сериалами голубыми.
В наших креслах от них светло.
Мы пришли по телам любимых
в эти кресла. Убийство шло.
Обожаю твой труп улыбочатый
и фасон а la НЛО.
К твоим карим идет убийство!
Верней, шло.

Войду в дом убиенный. Charming!
Никого. Дом усоп.
Я пощупаю лоб у чайника.
Он еще теплый, лоб.
Что сердечко твое измаяло —
кровь, любовь или страсть раскола?
«Катерина Измайлова» —
это «Манон» Лескова.

В нас мозги пожирают печень.
Певчий дар проклевал нутро.
В семьях праведных и беспечных,
словно газ из незримой печи,
что-то шло
из щелей. Потянуло кайфом.
Сын снял мать с гвоздя, как тулуп.
И любовник, выпав из шкафа,
оправдывается: «Я — труп!»

Вы заказывали клубничку?
Почему идем в шоу-бизнес?

Почему у нас трупные лица?
Почему мы *туда* хотим?
Даже повесть о самоубийце
называем: «Митин интим».

Шло счастливое наше детство.
Сквозь рыдания взрослых драм
мчался вспухнувший от младенцев
цилиндрический Иордан.
Как влюбленный в Леннона киллер,
запредельная страсть таится.
Пожалейте детишек хилых!
Они — маленькие убийцы.

Жизнь — природы интеллигенция.
Возвращенье к истокам шло,
возврат гения, извращенца,
во всеобщее большинство...

Я живу. Боюсь углубиться.
Я не знаю — кого? за что? —
но я знаю — идет убийство.
Верней, шло.

Сквозь асфальт, сквозь фальстарт, ад преград — рос,
а ему говорят, говорят — брось,
а ему говорят, говорят — сор,
ну, а он говорит, говорит — сюр!
а ему говорят, говорят — вон!
Ну, а он говорит, говорит — нов,
а ему говорят, говорят — раб!
Ну, а он говорит, говорит — рэп,
а ему говорят, говорят — груб,
ну а он говорит, говорит — ... бург,
а ему говорят, говорят — катафалк.
Ну, а он говорит, говорит — кайф,
а ему говорят, говорят — марксэнгельс.
Ну, а он говорит, говорит — мой ангел,
а ему говорят, говорят — бл...
Ну, а он говорит, говорит — бл. Августин.
А ему говорят, говорят — стоп!
Ну, а он говорит, говорит — блеф,
а ему говорят, говорят — хлеб.
Ну, а он говорит — Христос,
а ему говорят, говорят — видак,
ну, а он говорит, говорит — Давид.
А ему говорят, говорят — Дон Кихот.
Ну, а он говорит, говорит — мельница,
а ему говорят, говорят — крест.
Ну, а он говорит, говорит — круг.
А ему говорят, говорят — хаш,
а ему говорят, говорят — там.
Ну, а он говорит, говорит — шах,
ну, а он говорит, говорит — мат!..
а ему говорят, говорят — прав.
Ну, а он говорит, говорит — Лев.

Мальчик стекол

Ни отец, ни мачеха
не приносят столько.
Восьмилетний мальчик,
мойщик стекол,
на углу у Пушкинской
вас без лишних стебов
трет душой опущенной
мальчик стекол.

Тряпка — как пропеллер.
Василек асфальта.
Маленький Рокфеллер.
Наш. Не свалит.
Наглый ангел явочный,
сколько стоишь ты,
бледная пиявочка
нашей чистоты?

Выхлопы токсичные
в легких черным текстом
высветят: «Спасибочко,
... .. ,
за наше счастливое детство».

Сколько б ни катили вы
с женами и с телками,
сколько б ни отстегивали,
вас настигнет мальчик. Красный светофор.
Спряя одуванчик
плюнет вам в упор.

Красный отсвет плавает.
И нельзя назад.
Мальчики кровавые
и девочки в глазах.

1992

Бомж**I**

Задержите, задержите бомжа!
Он отвратен, нагл и поджар.
На груди скользкий след ножа —
и поверх пиджак цвета шпал.
Задержите бомжа!

Он бил в дверь. На губах божба.
Он ломился, дом всполоша.
(Накануне к нам залезли. С этажа
все забрали, телефон пообреза...)
Мне под хвост попала вожжа.
Я нахалу на дверь указал.
На стихи его плечами пожал.
Хам не может быть поэтом. Пожа-
луйста, задержите бомжа!

Он пропал в пелене дождя.
Я обшарил магазин и вокзал.
Задержите его возле гвоздя,
задержите посредине прыжка,
среди мчащихся фар!..

Третьи сутки я жду бомжа.
Он душу у меня украл.
Хам не может быть поэтом. Финал.
И ничьих следов после дождя.

II

И лужи ложились под фары машины —
«Бомжи мы!»
А он где-то шел, отжимая штанины,
и пил от обиды глотками большими,
и темные лица на улицах мокли,

мечтая порыться в нью-йоркских помойках,
и беженцев души без визы блажили:
«Бомжи мы!»

И пуля в больнице, и мальчик в божнице,
и с неба зарница, как в шапку на дщице,
и садик, вверх взорванный корневищами,
и Вечная мысль, прошмыгнувшая мышью,
и совесть, что смылась на дно из бомонда,
и ты, как и тыщи, проснувшийся нищим,
и бонза, внедривший понятие бомжа,
Россия, свою потерявшая нишу, —
(есть тайное братство страдалыцев свободы,
кто с нами прожил эти страшных три года) —
все были бомжами — от толп до вождя.

Но нет среди них моего бомжа.

Исповедь «сырихи»

— Почему ты рыдаешь, «сыриха
со слезой»?
— Чай, со сцены влетела соринка.
Мисс Успех — это я, дорогой.

Я тебе расскажу о «сырихе».
Так актрисы поклонниц зовут.
Мы загадываем, как ассирийки,
судьбы их сокровенных минут.

Все продажно — в душе и в ширинке.
Бескорыстно лишь в нашем бреду
абсолютное сердце «сырихи»,
что колотится в темном ряду.

Кто в кармашек почтового ящика
сунул ландыш лесной?
Кем Мадонна была кормящая —
не сырихой ли со слезой?

Мы звезду заряжаем из кресел
у соперников на виду.
Ну, а скурвится если —
отхлестаем букетом звезду.

В эротическом сиром галопе
у подъездов, меж рыхлой пурги,
я и мужа нашла на галерке.
С ним играли в четыре руки.

И когда замолкает Рихтер.
Зал затих. И выходит фальцет.
Мы тогда начинаем, «сырихи»,
для ладоней коронный концерт.

Чтоб в ладошке, как запятая,
тайный свет полминуты не гас...
Вы такого не испытали?
Жаль мне вас.

* * *

Тайна тайна. И тихо тихо.
На галерке напряжена
затаившеюся рысикой
театральная тишина.

Гениальная женщина зала,
утомленная уровнем цен,
по дыханию понимала
гениальную женщину сцен.

Абсолютна минута немая
двух сердец, когда выключен свет, —
понимание, пониманье...
В жизни смысла иного нет.

И единственная награда —
тайный взгляд, недоступный для лож,
от которого темному ряду
передастся волшебная дрожь.

Тайный знак изможденному сердцу,
слаще кайфа на тысячу лет,
по которому следует в среду
так же взять на контроле билет...

Нас на улице, как любовниц,
не узнают, смущенье скрыв...
Трепещите, омоновцы!
«Сырихи» идут на прорыв.

Друг продаст. Позабудет родина.
Понимания не найду.
Но «сырихино» сердце сиротино
заколотится в темном ряду.

Лиза ОМОНА

В лесу твое тело пятнисто-лимонно —
в солнечных зайчиках, в тенях от листьев.
тебя называю я Лиза ОМОНА,
ОМОНА Лиза.

После дождя, близорукая рощица,
как ты искала контактные линзы!
И жизнь закружилась, сперва понарошку,
под кодовой шуткой — «ОМОНА Лиза».

Губы сжимая, улыбку змеила,
в рот набирая холодную «Плиску».
Близко склонялась, собою поила —
плиз! —
обожаю ОМОНА Лизу.

Ты просыпаешься только к закату.
Тебе наплевать на лимоны Мамоны!
Лучшие мэны не вскрыли загадку.
Мафия сматывает знамена.

Знаешь, мне кажется, если спуститься
к нашим ручьям, только щеки омою —
столб закружится из листьев пятнистых.
Ты маскируешься, Лиза ОМОНА.

Панка пятнистая, зайчики пяткок.
Где тебя кружит? Выбила ль визу?
Страны какие приводишь в порядок,
ОМОНА Лиза?

Секс-контры

Оцепление оцепенело.
Толпа голых на Маяковке
Партия сексуальных контрреволюционеров
проводит первую маёвку.

Фасоны развратны и лицемерны.
Нудисты бреют козла.
Сексуальные контрреволюционеры
идут в чем Родина родила.

Сексуальные Робеспьеры,
бросьте экссы! В свету реклам
сексуальные контрреволюционеры
превращают в барышень дам.

«Купите бабушкин кекс.
И екатерининский секс.
Вы чемпион. Но экс...»

И гекз —
| ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ | ◡
аметры слышны в речах:
| ◡ ◡ ◡ | ◡ ◡ ◡ | ◡ ^ ◡ | ◡ ◡
На Джоконде усы Сервантеса.
Превративши нули в рули,
наши новые консерваторы
стоят на древнего Дали.

И ты, сексуальная контрреволюционерка,
выйдешь в сад, от измен устав, —
где жасмин расцвел, как галлюцинация,
как белый рояль в кустах.

Все меньше тебя волнует концепт,
все больше Первый концерт,

вдыхаешь сирень, как поэт К. Р. —
сексуальный контрреволюционер.

«Мы идем вперед задом, сменив знамена.
отключай электричество, познания свеча!
Молодежь подхватывает традиционное
знамя Ильича.
Петра Ильича».

Черные простыни

Покупайте черные простыни,
анархисты любви!
В постмалевичевском постере
белокурую прядь продери.
Замаячат в окошке над площадью
черноплодные фонари.

Экономьте рубашки нижние.
Оптимизм — цвета пропасти.
Конкурируя с чернокнижием,
расстилайте черные простыни.

Не поняв, назовут тебя проститу-
ткой соседские дилетанты.
Улетай, полуночная профи
непроглядного дельтаплана!

А вы спали на Постистории?
Вообще, вы летали? На противне
подгорали ль орешки? Попробуйте
засыпать на открытом люке
меж созвездий разлуки...

Пред квадратной Малевича тайной
современница выпалит:
Почему он квадратный?
Потому что двуспальный!
Односпальный — параллелепипед...»

Плыть по-черному. Жить без просыпа.
Пока гости не облевали,
выставляйте черные простыни
на Венецианской Бьеннале.

Памяти Димы Холодова

На место Сахарова лег.
Кто музыканты?
Упокой его душу, Бог.
Место вакантно.

В России нет очередей.
Народ добился, чародей.
А может, это не Россия?
Одни машины за бензином.
Иль нет в Отечестве людей,
чтоб постоять за апельсинами,
за сникерсами из резины?!
К Зосиме нет очередей,
засим преступник он, Зосима.
Один стою в ряду осинок.
Идеи нет в тоске полей,
идеи нет в шоссе трассирующем,
идеи нет в жилых массивах...
А вдруг и правда не Россия?
В посольства очередь за ксивой.
В Россию нет очередей.

По гнущимся ступеням
к источнику, что снизу,
кто вывел автогеном
«Надежда» и «Лариса»?
Ах, женские ступени
и имя на плаву,
как в поминальном пенье
и в храме на полу.
Железа отсвет паюсный.
Вечерний водопой.
Надежда прогибается
под мною и тобой.
Ты туфли не из риска
снимаешь с каблуком —
чтоб ощутить Ларису,
ощупав босиком.
Плащ подвернув до «мини»,
нагнешься в темноте
и пальцем свое имя
напишешь на воде.
И озаренный инеем,
с твоей ладони пью
разбавленную именем
прощальную струю.

Мы — ямы

Ю. Карякину

— Не скифы мы, не азиаты с вами,
мы — ямы,
великие умы, прекраснейшие дамы,
мы — Янусы,
сменивши «я» на «мы» бессмысленной программы,
мы в анусе.

Мы прямо на псалмы писали на кассетник
плач Донны Саммер.
Россия — маскировочная сетка
над волчьей ямой.

Когда Урал, как страшный нос, провалится,
затянет все Нью-Йорки и Майами.
И новый Блок не выкрикнет: «Товарищи!»
Вы, яппи, дайте взаймы!..
Мы — ямы.

Шел не Христос пред вьюгою проклятою —
столб телеграфный в белых изоляторах
за венчик роз мы приняли по пьяни.
«Салями!..»
Мы — амен.

Но почему же именно над нами
обрывами, черемухой, грехами
встает звезда несбыточного неба
самоубийственными соловьями?

А может, ангел провалился в сеть
и плачет, падший, из воздушной ямы?
— Когда Господь захочет миру спеть,
мы — ямбы.

1993

Я был
империи репейник.
Я рос
в кювете. Оседал
в отрепья джинс, как оперенье.
империалистический металл.

Империалистический шофер
ко мне чиниться подъезжал. Repairing.
И облегчался на репейник.
Я помню женские шаги,
изогнутое нетерпенье
неизъясных измерений
империалистической ноги.

Летели «ЗИЛы». Гнула поросль
империалистическая скорость.
Экспозиционист-милиционер
на них взвел свой скоростемер...
Убили за такую подлость!

Я рос, сорняк. Вы вырывали
меня. Но знак моей любви
вы разносили в шароварах —
мои прилипшие репы.

Я был сутол. Я жрал крупеник.
Но в небе несколько минут
мой брат, Империи репейник,
пылал Блаженного салют.

И озаряемый Отрепьев,
я понял вещие цветы:
вдруг мы — Империя репейников,
никчемной, Божьей красоты?!..

(Но в пору «Озы» был нелеп
мой интеллектуальный рэп.)

I-я Империалистическая вина
имела Распутина,
II-я Империалистическая волна
дала двух «Распутиных» —
одного внизу, другого — вверху...

Пришла искусствовед: «Сорняк
меня волнует, как Синьяк».
Стал жить в гостиной, не в сениях.
С ранья был хлеб. В державе реп
меня играли в стиле рэп.

У пса был поп,
у попсы был флоп:
пес попа сожрал
и песню записал.

Им-пе-ри-а-лист Рэм Степанович Петров
залить костер принес петроль
(и в землю закопал).
Жена-мироносица в майке от Миро
на меня вылила помойное ведро.
Империалистический Шарик
гонял котов,
поднимая заднюю ногу у пьедестала Шадра,
как пионерское «Будь готов».

Стояли с флоксами. Меж ними
уж прорастали мини-героини,
которые, как бритые кометы,
демонстрировали постимпериалистические
методы.

Что ж, кровь всю слить и поменять?
Империалистический отец,
империалистическая мать,
империалистическая ты,
мотая нити на персты,
словно на Крымские мосты,
мне подарила первые свои
империалистические соловьи.

Я рос без денег. Флоксам не соперник,
я сам себе rebelling. Я репейник.

Но рос в Империи. Она в моче, в крови,
в империалистической любви
к ведерным бедрам на ВДНХ
и в восприятии денег как греха,
в полете, чтоб сводило потроха
от Минска до Урала, до стыда
за гибель императорской семьи,
в имперском понимании стиха,
как антитезы власти, антидезы.
И принимали вещей мой язык —
по телефону в «мерседесе» —
тунгус и друг Стенвей калмык

У пса был поп,
потом был флоп:
пес попа сожрал
и песню записал.

Прощай, империя Сизифова!
В самом себе не материаль-
ную тебя — метафизическую —
я победил. Я потерял.
В антиимперии репейной
Урожай рэпа. Я расту.
Мы снова к новому preparing.
Все тонет в фиолетовом цвету.

Душа свободна. Но скребет, какмышь,
империалистическая мысль —
как Минск? и не сожгли ли Дагомыс?
империалистическая боль —
теперь меж нас граница, что с Тобой?

Приедешь бледная, совсем не пьяная,
моя сердечная диссидентка,
глаза туманные, звезда обманная,
Непонимание. Misunderstanding.

А там за стенкою Москва временная.
Misunderstanding. Непонимание.
Умчишь в Германию. И там без денег —
непонимание, misunderstanding.

Не понимают тебя соседи.
Не понимают друзья и родичи.
Пришло сердечное диссидентство,
сменив политику на эротику.

Уму понятно, но сердце мается.
Ты вечно ставишь не то в кассетник.
Играешь в шахматы на волейбольной сетке
и улетаешь в непонимание.

Не водки просишь — вина десертного,
а то Бергсона в наш мат вмонтируешь —
всех твоя лексика ненормативная
возмущает. Misunderstanding.

Живешь с включенным кондиционером.
В отпаде денди наши романские.
Непониманье — канцерогенно,
пойми, смертельно непонимание.

Стерилизуйте еду и ванную!
Мойте руки после аплодисментов!
Свеча заздравная поминальную
не понимает.
Misunderstanding.

Какою музыкой невменяема,
в черных наушниках прически стерео,
жила Наталия Николаевна?
Непониманье. Misunderstanding.

И не всеобщая kleptomания
меня волнует, не курсы стерлингов.
А абсолютное непонимание,
наша нормальная Орестей.

Но ты не можешь же быть нормальной?!
Проснись, как прежняя, без истерик,
стань, моя мания — Мисс Понимание,
Miss Understanding!

Я — money

Фирма́ —

маниманиманимани — *нема* —

вложи в дома! —

неманиманиманимани-Манэ, 4 Мани, мы в романе! —

маниманиманимани — *нема* —

тюрьма — из-за дерьма? —

маниманияманияМММанияманияманиямани —

я — манияманимани —

НЕМА

розовые от рассвета
крылышки стрекозиные
со щелкою между ними

рассвет *шанель № 9*
закат *ланком № 40*

светлые красные красные
красные темные темные

осевшие на фужерах
осадок красной досады
на снежных узорах окон
как на бумажных салфетках

окно говорящее

на памяти на прощанье
черные под подбородком
как штемпель мясного рынка

на ночь уже без краски
под утро еще без краски
твой вернее мой

печаль моя № 8
улыбка № 15

оральные у ораторов

на лбу восковом навеки
плывущие в крематорий

заплаканные на письмах
с кляксой от лихорадки

обиженные неразжимающиеся
твой как шляпка шурупа
с бороздкой для отвертки

наглые № 30

на сигаретном дыме
над дырами одиночества
шелковые как штопка
из поперечных стежков

малиновые напильнички
шепчущие молитву

пропавшие № 8

мазки предупреждающей краски
чтоб не разбиться о воздух

светлые красные темные

от пяток и до макушки
жизнь фарфоровый чайник
покрытый красным горохом
словно спина от банок

разлука № 16
свидание № 10
с добавкою перламутра

сохнувшие под номерками
как под скрепками бельевыми

о чем говорят фужеры?
какой номер у тайны?
у счастья?

— Внедрившийся в нашу банду,
вы — труп.
Вы собирали для банка данных
дактилоскопию губ.

1993

Куплю «макарова».
Пойду пострелять в лесок.
Попал березе под сосок.
И долго эхо не смолкало.
Нахалка крыльями махала.

Я бросил в озеро «макарова».
И глянул сверху в озерцо —
пошли круги, круги мишени,
и окружали отраженья.
И в центре их — мое лицо.
Бежать от этого макабра!

Почему я не подсуетился,
чтоб уехать из этих лет?
Не по зову патриотизма.
Дорога цена за билет.

От разваливающегося Блаженного
как уеду?
Пусть стреляют на поражение.
В поражении здесь — победа.

Я корчил галантную рожу
и, как подобало годам,
прощальную белую розу
бросал к Твоим спелым ногам.

Ты стала красивей и строже.
Весь в складках, с отвисшей губой,
бульдог, словно белая роза,
влюбленно идет пред Тобой.

Темнеет. Мы жили убого.
Но пара незначащих фраз,
но белая роза бульдога,
но Бога присутствие в нас...

Когда совсем уж плохо,
я не тревожу Бога,
не открываю Блока —
я ухожу в дорогу.

И озарит из балки
заря необъяснимо
мне след от лыжной палки,
как ломтик апельсина.

Пусть жизни пролито полчаши,
дай им отпить. Не уходи.
Избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной глухоты.

Хоть люди не прощают это,
но сердцу зрячему в награду
тебе из пачки сигаретной
сыграют трубочки органа.

В мученьях дней, в печатных ралли
сентиментальной лимиты
избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной пустоты.

Море красится сурьюю,
о Тебе напомнить хочет.
Забелеет парус в море,
как в кармашке Твой платочек.

Пальцы твоей ступни, уменьшающиеся, как слоники
на бабушкином комоде, — фигурки твоей родни,
уменьшенные от времени, сплющенные, как гномики, —
отец твой, салонная бабушка, дед, матушка, все они —
плюс сгорбленная в мизинчик любовница Наполеона, —
подсматривают за нами с пляжевой простыни,
как было лежать им в гробике туфель, где все — ни-ни!
Пляж пускает, как подсолнухи, панцирные клешни.
Ушел сухогруз в Салоники. Но пальцы твоей ступни
мне жить не дают, привставшие над простыней зеленою,
фаланги к потустороннему, которое не спугни,
жмуриящиеся от жизни, от моря на вкус соленые,
шалом! Что желают пальцы левой твоей ступни?

Не разлюбите без взаимности!
Еще вас любят по инерции.
Но телефон уже с заминкою,
самой вам этому не верится.
И в шарфе афтершейв жасминовый
висит в шкафу и не выветривается.

Не позабудьте без взаимности,
в себе на ключик запирайте
провинциальную гостиницу
с сухими иглами в кровати,
где совы ухают совминовские,
ваш шарф, продлив полоску Млечную,
от подоконника до плинтуса
бежит дорогой подвенечною,
вы в нем всегда, как под инъекцией, —
красивая — глазам не вынести!

Не девственница Книги Гиннесса,
но и не ветреница,
не напивайтесь без взаимности
с ним и счастливою соперницей.
Ну, хоть бы ненависть взаимную!

Не изменяйте без взаимности
себе. Взаимности добейтесь.
Верните его в ту гостиницу.
Когда же он наивно двинется —
тарелки об него разбейте,
пусть брызнут батарейки Сименса!
Набейте морду без взаимности.
А так — не вынести.

Эфирные стансы

*(написанные во время пребывания в телеящике
с К. Кедровым)*

Мы сидим в прямом эфире.
Мы для вас, как на корриде.
Мы сейчас в любой квартире —
говорите, говорите.

Кто-то в нос, как гайморит,
что я заразен, говорит.
У кого что болит,
тот о том и говорит.

Вянем, уши растопыря,
в фосфорическом свете,
словно бабочки в эфире
или в баночке, в спирту.

Костя, не противься бреду.
Их беде пособлезнуй.
В брани критиков (по Фрейду) —
их истории болезни.
У кого что болит,
тот о том и говорит.

Вся Россия в эйфории.
Митингуют поварихи.
Говорящие вороны.
Гуси с шеей Нефертити.
Мы за всех приговоренные
отвечать здесь. Говорите.

Я виновен, что Отечество
у разбитого корыта.
Если этим вы утешитесь —
говорите, говорите.

Где-то в жизни аварийной
стриженная, как мальчиш,
милая периферия,
дышишь в трубку и молчишь?

Не за облаком, не в Фивах,
философствуя извне,
мы сидим в прямом эфире,
мы живем в прямом дерьме.

Мы живем не так, чтоб сытно.
Нет бензина. Есть «низ неб».
Костя, Костя, друг мой ситный,
кушаем никоваХлеб.

Я, наверно, первый в мире
из поэтов разных шкал,
кто стихи в прямом эфире
на подначку написал.

Иль под взглядами Эсфири,
раньше всех наших начал,
так Христос в прямом эфире
фарисеям отвечал.

Ночь сознания. Как помирим
эту истину и Ту?..

Станем мыслящим эфиром,
пролетая темноту.

В Склифе

В какие нас бездны сбрасывают
написанные от руки
Свобода, Равенство, Братство,
где вместо запятых — курки?

И тенью от Белого дома,
как выел пятно купорос,
с газет поднимают ладони
пробелы цензурных полос.

И русский под дулами русскими
к стенке лицом встает,
прижат как дверная ручка...
Куда эта дверь ведет?

Там раненый на хирурга
хрипит, без наркоза стерпя:
«А ты за кого, херуга?!»
— Дурак, за тебя.

В палаты там прут с автоматами.
Сестричкам грозит самосуд.
И банки отнюдь не с томатами
оглохшие бабки несут.

Бреду меж кровавых носилок.
Там, в сырости здания,
я чувствую третью силу.
Она — сострадание.

На койках соседних в больнице
вдруг мой одноразовый шприц
вернет к человеческой жизни
и жертв и невинных убийц?..

4 октября 1994 г.

Зевака

Я — Москвы зевака,
снайперов мишень.
Нас с моста эвакуируют
взашей.
Все, как у «Живаго».
Без Христа страшней.

На витринах Снайдерсы,
а в кармане — вакуум.
Сникерсы и снайперы.
Что-то рядом звякнуло.
Что-то рядом просвистело.
Интересное кино.
Где-то бродит мое тело?
А душе не все ль равно?

Мы — случайные мишени,
мы зеваки, я и ты,
в нас постыдное смещение
любопытства и беды.
Позабыв хохмить и охать,
я гляжу на Белый дом,
почерневший, словно ноготь
от удара молотком.

Что-то сердце хватануло.
Я гляжу позор страны,
как вверху клавиатуры
стали клавиши черны.

А на улице Неждановой,
где ходил я час назад,
разбросав стекло несданное,
три застреленных лежат.

5 октября 1994 г.

Тот — в Склифосовке,
вскрыт философски.
Тот — в трепанации
от трепа нации.

Переход

За что мне этот переход?
Я в подсознание Москвы
спустился в судьбы и мослы,
где каждый душу продает.
Я к Склифосовке в переход
от бешенства шел на укол.
И каждый, кто сюда пришел,
как урка, клал кишки на стол.

Кто лез из «вольвы» наверху,
свою здесь нюхал требуху.
И женщина под общий смех
рожала на виду у всех.

Не из протеста — от тоски,
носки развесив, как беду,
народ кладет свои кишки,
когда совсем неумоготу.
Господь нас превратил в господ.
На что нам этот переход?

Был скоточеловекобог,
стал богочеловекоскот.
Телка, слаба на передок,
несла для пыток утюжок.
Криминогенная пила
лежала тенью от Кремля.

Была опасной колбаса —
колба из пса.
И целлофан вместо гробов
искали толпы мертвецов.
Лишась бердяевских примет,
наш Дух переходил в Предмет.

Инстинкт пластинками синел.
Печаль садилась на шинель.
Мысль разносила менингит.
Стаканы мутны от идей.
Им было больно ими быть,
не быть было еще больней.

Безвыходно в стране той жить,
безвыходно расстаться с ней.
И было стыдно здешним быть,
не быть было еще стыдней.
Шинель надета на гуру.
И беспредел смердел в углу.

Я торопился на иглу.

Вязали бешенство в мешок.
Сажали душу на горшок.
Над городом зиял Гор-шок.
России расширился шов
в душе и через потолок.

Дай передыха, переход!
С клочка газеты «Эрих Хон...»
порошковая душа
жалась в банке алкаша.

Он пред собой сгребал, как краб,
свой прожитый грошовый скарб.
Лежал, как лилипута скальп,
презерватив — пупок любви.
Хичкок.
Я отдал бы кишки свои,
чтобы не видеть их кишок!
Но прорастала сквозь меня
щетина псиная моя.
Рехнувшийся чертополох,
стояла Ты на четырех.
Были похожи на Твои
пульсирующие мозги
под злыми мухами Москвы —
Твой смех, как боль наоборот...

За что нам этот переход?
 За что всеобщий этот шок
 души на уровне кишок?
 За что, тушитель, нас поджег?
 Россия пьет на посошок.

От Склифосовки в переход
 спустился я, как Геродот.
 Там скифы с болью в голове
 спрашивали СКВ.

И человек-переходник,
 в себя воткнувши вилку, вник
 во все проблемы. И ходил,
 как поршень, певческий кадык.
 Фундамент Сухаревки был
 здесь рядом. Но я все забыл.
 И я завыл:

*«Спой, переходная душа,
 что похеровее.
 В нас хлещет время, как в дурилаг.
 Мы переходные.
 Без берегов капитализм —
 даль переходная
 пути, что «хондами» неслись,
 все перекопаны.
 Пить из Медведицы ковши
 водопроводную
 не искушай меня, душа.
 Мы — переходные.
 Убийство стоит 40 тыщ.
 (Программа «Новости».)
 Мы — переходные, малыш,
 от срама к совести...»*

Я в Склифософский переход
 спустился, как в святой приход.
 Куда уходим? Что нас ждет?
 За что нам этот переход?

Россия, нищая Россия,
ни разу в муке вековой
ты милостыни не просила...
Стоишь с протянутой рукой.

Ты — та же скрипка, только скрытая.
В отличие от Тебя, у ней
два шрама от аппендицита
и музыка еще больней!

Мы от музыки проснулись.
Пол от зайчиков пятнист.
И щеки моей коснулись
тени крохотных ресниц.

Под навесом оргалита,
нажимая на педаль,
ангел Божий алгоритмы
нам с Тобою передал.

Гарь

Гарь, гарь, гарь...
Над страной — карр! карр!
За стеной: «Дай, Галь...»

Запаркуй кар.
Стол. Хмарь харь.
На душе гарь.

Подгорел сухарь?
Или жгут орех?
Гарь, гарь, гарь —
это пахнет грех.

Едкий вкус дымка,
перегрев ТВ?
Или же река
курит в рукаве?

Пей или ругай —
но в сознание всех —
гарь, гарь, гарь.
Это пахнет грех.

Угорелые народы.
Угорелая свобода.
Некуда открыть окно.

Как спасти страну от дьявола?
Просто я останусь с нею.
Врачевать своею аурой,
что единственно имею.

Не ура-патриотизмом,
не ударом побольнее —
тайной аурой артиста,
что единственно умею.

Грех Уныния

Я исповедуюсь в грехе Уныния.
В людской пустыне я,
в краю Кучума, сняв глаукому,
читаю колычевскую икону.
И проступает из беспредела
идея белого Переделкина.

«В реестре Ада, — слова извилисты, —
есть грех Уныния, есть грех Гневливости».
Кредит последний в душе отшаривая,
я исповедуюсь в грехе Отчаяния.
Несут нас кони. Всадники в коме.
Читайте колычевские иконы!

Среди крушения, в котором ныне мы,
не искушай меня, грех Уныния!
Постылой вилкой из алюминия
изыдь, уныние!

Изыдь, уныние, дорогой длинною.
Изыдь от изгороди с малиною,
где смотрит женщина оперу мыльную,
не искушай ее, грех Уныния!
Жизнь не убила, она уныла.
В ней зацветают пруды уринные.
От бухт Японии и до Румынии
спаси нас, Господи, в стране Унынии!

Куда нас ангелы ведут в глуши,
умалишенные малыши?

Я последний поэт России.
Не затем, что вымер поэт —
все поэты остались в силе.
Просто этой России нет.

Спаси нас, Господи, от новых арестов.
Наш Рим не варвары разбили грозные.
Спаси нас, Господи, от самоварварства,
от самоварварства спаси нас, Господи.

Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся!
Мы погибаем от самоварварства.
От самоварварства спаси нас, Господи.

У нас не Демон украл Самару,
не панки съели страну, не гопники.
В публичных ариях, в домашних сварах
от самоварварства спаси наш госпиталь.
Не о себе сейчас разговариваю,
но и себя поминаю, Господи.

От мракобесья обереги нас,
от светлобесья избавь нас, Господи.
Новой победе самофракийской
не только крылья оставь, но — голову!..

Мне все же верится, Россия справится.
Есть просьба, Господи, еще одна —
пусть на обломках самоварварства
не пишут наши имена.

Человечество, очнись!
Тысячелетья нас дурачат
Король — эксгибиционист
и явно неслучайный мальчик.

А ты все сидишь на пляже.
Пальцы твоих ступней
торчат, как карточный веер.
Ты играешь с вечностью.
На раздевание.
На тебе уже ничего не осталось.
Придется снимать тело.

На берегу пустынных волн
стоял Он. Дум великих порн
перед ним струился. Словно дюны,
повсюду шевелились думы.
Санкт-петербургский пэтэушник
кайф ловил через наушник.

*Мы ехали из Ленинграда в Петербург.
И всюду были Его мысли.
Но Он в них себя не узнавал.*

Дом дум
транслировал депутатский ум.
У набережных тумб
мыслила критическая масса:
«Масла вместо Марса! Мяса!»
Санкт-петербургских думы дам
шли от очередей к домам
в Европу прорубать окно
размером с видеокино.
Но
под милицейские сирены
играл по думам перепуг —
шло тысяч душ переселенье
из Ленинграда в Петербург,
которые неслись назад
из Петербурга в Ленинград.

Тот на Петра натялит кепку.
Тот памятник, как зуб, дерет.
В троллейбусы,
прилепленные к небу скрепкой,
лез с кринолинами народ.

*Мы ехали из Ленинграда в Петербург.
В метафизическом, конечно, смысле.
Не мысли мчались в нас. Мы — в мыслях.
И всюду мысль Его присутствовала.
Он в ней себя не узнавал.
И горизонтом вслед бежала
мысль о падении Державы.*

Стоял санкт-петербургский урка.
Спросили, опустив стекло:
— Далеко ли до Петербурга? —
— До Петербурга далеко!

Стрельцы в подвалах ленинградских.
Сквозь страшных лет перепетербург
радищевски нам добираться
из Ленинграда в Петербург.

Неужто мы в ослепших ралли
(Звезда — как карлик пятирук)
путь к Петербургу потеряли,
потеряли Петербург?

Навстречу ехал «мерседес»,
приют убогого чухонца.
Шла осень. Падали червонцы.
Лез к микрофону мракобес,
что будет город заложен
за виски, диски и бекон.

*Сан Петербурга без Империи?
В обломках рухнувших колонн?
Жизнь пела, красно-сине-белая.
И думал он.*

Вкусив отсутствующий поридж,
в кафе прочел он «Коммерсантъ»:
«Ебал я ваш Конгресс, — сказал Ростропович...»
Как тут оспоришь?
Сей гениальный музыкант
был эротический гигант.

На мысы набегали мысли.
Командировочные мыслись.

Светало. Выплывал утопленник.
 Томимы светом изнутри,
 на берег выходили topless,
 как белой ночью фонари.
 Как Он почувствовал, пригубя
 российскую мадам Клико,
 дистанцию до Петербурга —
 до Петербурга далеко!
 И, голосуя, хорошела
 кровь царскосельских кастелянш —
 студентка с ключиком на шее,
 как крестик ранних христиан!..
 Навстречу мост. И город близко.
 Взошел на мост. Был ветер груб.
 Мост оказался — «Сан-Франциско —
 Санкт-Петербург».
 Туда неслись мыслители из Петербурга!
 В снегу желтели, далеки,
 как будто «Мальборо» окурки,
 ампирные особняки.
 Он помнил белизну колонн,
 но Он

*уже был над океаном.
 Под ним, мигая красным пунктиром,
 проносились мировые иноязычные мысли.
 И каждая шептала: «Miss you».
 На кремовой «Волге» Он даже различил
 номер «СПБ-1836» — как гриф прижизненного
 издания Онегина.*

*Мысль не отнекивалась.
 Все мысли были о России.
 И каждая программировала,
 разрабатывала маршрут —
 «Ленинград — Петербург».*

*Сомнительная мысль бежала —
 о рождении метафизической державы.
 И пел лемур, как Винни-Пух:
 «Да здравствует Санкт-Ленинбург!»*

Есть строчки старые в тетради,
 застрявшие в моей судьбе:
 «Приснись! Припомни, бога ради,

ту дрожь священную в Тебе,
как проступает в Ленинграде
серебрянейший Спб».

Теперь проступит в Петербурге
им пережитый Ленинград —
в консерваторской партитуре
ушедших голоса звучат.

Люблю на туче тень иглы,
на душах строгих след офорта,
бардов студенческих аорты,
и баночки из-под икры
над крышею аэропорта,
шофера в поисках искры,
и полный тяги и игры
сырой твой голос сквозь ворота.

И апельсиновую шкурку
дубленки, сброшенной тобой...
И ключик от Санкт-Петербурга
горит на шейке, золотой!
Как нам вернуться в первородство?
Как нам вернуться в Петербург?
Зачем в года переворота
мы Пушкина встречаем вдруг?

Он, помню, по телемосту
шел в эту сторону. Мы — в ту.

Кроссовки —
два куска.
Ту-совка —
два совка.

Неинтересно
ту-соваться
одному.

Ты с улицы?
Дурдом.
Тусуемся
то сон.

Туз-off
судей Садков.
Труп шока.
Кабаков.

Искусство —
простыня
потусто-
ронняя.
— Постмодернист — это модернист, получивший пост.
— Вот потц!

Чьи трусики —
туз пик?
Вы трусите
to speak?

Туристка
Катманду.
тоо риска?
Твенти ту!

Льет с крыши
аквосусть.
Услышьте
кто-нибудь!
ТАССОВКА:
Малевич тусуется с Макаревичем.

Ты, Софка, —
не Лорен.
Усохла
до соска.
Тускла.
Манит в ок-
не Москва
малинкой
тусеска.
Льет с неба
аквосусть.
До стеба
все. Забудь.

*Она — такой Достоевский!..
— А когда я спросила панка
у Юго-Западной:
«На что же похожи танки?»
Он ответил: «На запонки»...*

Two сока
туристке!
Two сода,
two виски.
Тур СОДа?
Тут тоска.
to Сохо?
to Сокол?
В ЗЛК!

Все подмосковные зел. насаждения пропитаны

тяжелым металлом.

Two. Ссора.
Ты козел!
Ты совок!
Ты казенный сапог!
Тусовка to Склифосовка.

Два срока.
До звонка.

Бог на иконах пишется БГ.

Звон. Зовы.
Далека
часовня.
Два венка.

А в небе
свысока
Медведиц
два совка.

Туснитесь
в Млечный Путь,
проснитесь
кто-нибудь!
Там, снизу,
аквосуть...
Забудь. Забудь.
Забудь.

Кусково.
Лебеда
подковой
вкруг пруда.

Сон. Совы.
Ты. Века.
Тусовка.
Два совка.

От Генриха Сапгира
балдею —
от профиля тапира,
от Герники сабвея,
московского, который абсорбиру-
ется?

Очисти снег

Очисти, снег, страну, сознание очисти.
Я руку поломал.
Я гипсочеловек.
Очисти, снег,
меня
исповедальной читкой.
Страну очисти,
снег.

Мне непонятно, с кем помолвлена отчизна.
Телеэкран души
зашкален от помех.
В душе идет метель.
Предсвадебный мальчишник.
Все пьяные, как снег.

На клавишах берез, взлетов, сыграем «чижик».
Все — мокрые, как снег,
целуются при всех.

Беспрецедентный снег, ты дух или материя?
или повальный грех?
У родины моей
менталитет метели.
Смертельно люблю снег.

Люблю ногами вверх висящие кальсоны,
в морозе, как собор
из колоколен двух...
Очисти, снег, страну
не конституционно,
а исповедью вслух.

Не трогай, гнев, страну, которой нет беднее.
Не трогай, смех, страну.

К нам падает с небес
мольба объединения.
Я снегу присягну.

Объедини печаль Борисова-Орехова
и тех, которых нет.
Как я люблю страну,
которая уехала,
и ту, что смотрит этот снег...

Очисти душу, снег, — немедленно, сегодня.
И небо разгипсуй.
Стряхнет снег с проводов
невидимый Сеговья.
Снег абсорбирует абсурд.

Еще очисти снег

«Очисти снег!» — кричат. Прибуксовало кузов.

Снег — бал.

Традиционно русская закуска!

Снэк-бар.

Но кто очистит снег от наших безобразий?

Есть разве

ему химчистка?

Как бьется белое сердчишко!

И не понять слова гуляк:

«Гуд лак»?

или «ГУЛАГ»?

За бывшей дачею генсека

лишь гены неба.

Наш мотель.

И агностического снега

непоправимая метель!

Очисти душу, снег, немедленно, сегодня.

Овчинку — изнутри.

Послушайся поэта старомордого —

под «дворник» брось снежку.

И видимость протри.

Очисть, Господен снег, гриппозные апчихи

вкруг женщины,

не любящей аптек.

Чтоб было чем дышать,

страну и жизнь очисти,

очисти,

снег!

Хозяйка квартиры:

«На них были маски и черные презервативы».

На каменных волна, отжавшись,
откувыркивается назад.
Длинноногие иглы аджарские
на бережных лежат.

Вы сосновые иглы видели
сантиметров в тридцать длины?
Словно рихтеровские измерители
сверху сцепкой соединены.

Парно сжавшись, летят в наш мизер
силуэты Ромео-Джюльетт.
Золотые мумии мысли
опускаются на парашют.

Словно кто-то иносказательно
меж кровавых земных начал
золотым мелком указатели
в темном воздухе написал.

Бродит женщина в Кобулету,
в угасающий входит свет,
собирает тысячелетья,
эти иглы в сухой букет.

Меж кошачьих глаз малахитовых,
меж империй, летящих в мрак,
монархических анархистов,
захвативших партособняк.

Длинноногие сосен дети!
И в скользящем свету гора.
И вельветовы Кобулету,
как поддетая кобура.

«Ты зачем собираешь иглы?» —
я спросить ее подошел.
И ее спортивные икры
напряглись сквозь черный подол.

«Я сплетаю из них корзинки
под печенье и под цукат».
И добавила по-грузински,
указывая на закат.

Жизни смысл летит по касательной!
С неба падают в страшный век
непонятные указатели —
золотые, головкой вверх.

Когда человек умирает,
его на родину тянет.
Когда умирает родина —
вдали или где-то рядом —
в нас ауры
умирают.

Демгородок

Дорог тем, что помог,
Академгородок.
Через времени ток
лечу вспять, на Восток.
Моих тем городок —
яко демГеродот.
Я не демонобог,
не геройский совок,
но хранишь, городок,
дребедень тайных строк.
Вдруг тебя больше нет?
И куда я приду —
в академтемноту
или в академсвет?
Пас тебя особист,
за кордон чтоб не сбег.
Спас ты, Новосибирск.
Укатил колобок.
Но под сердцем свербит
молодой холодок,
слыша — «Новосибирск»,
«Академгородок»...
Почему сквозь наш быт
и подъезды с мочой,
молодея, звучит
Амадея смычок?
Тянет в тот городок,
не пойму почему.
Или я — парадокс —
был свободней в плену?

Ссуди мне триста миллионов
световых верст!
Не зря Ты тезкой Гумилева
сфотографирована в рост.

Мне до звезды молвы бодяга,
все до звезды,
когда Твой свет ложится на бумагу,
оттягивая гирькою весы.

Звезда моя, надел приватный,
малолитражка, травести...
Плеватели,
доплюньте до звезды!

Двое подошли к калитке.
Он похож на пацана.
У их праздничной улыбки
были наши имена.

Моя строчка повенчала
их. Присутствовал астрал.
Развязностью провинциала
он смущенье прикрывал.

Завтра в подмосковном храме
будет длань вознесена.
И над ними, не над нами
скажут наши имена.

Ангелы стоят в астрале.
С болью вглядываясь в фас,
в них себя мы не узнали.
Они не узнали нас.

* * *

Духовной жаждою томим,
несмотря на паспортные данные —
не читайте! не завидуйте! —
я гражданин
страны страдания.

Я гражданин
метафизической империи
страны страдания.
Поздно выбирать свободу в Либерии
или Иордании.

Мне не интересен рейтинг.
Боль бомжа равна боли первой дамы.
ГУЛАГ и одинокий замок Рединг
соседствуют в стране страданья.

Самые красивые женщины живут в стране страдания.
Некрасивые становятся в ней красавицами.

Я хотел бы, чтоб ты выбрала свободу, —
не для тебя отечество, где отключают воду.
Но мы зарегистрированы тайно
в стране страданья.

Скорлупа материалистической империи
взрывается по Нострадамусу...
Я слышу писк, беспомощный, без перьев,
рождающейся птицы Состраданья.

Реформа в литературе

(без Лефортова и без пули)

— Стихам
нужен PAL-SECAM!

— Книгу —
в музей, как Нику!
Безголовую.

— А землянику?
— Уголовники!

ПРОРОК: Нет розы и «роллс-ройса».
Проедем в «хорьхе» с орхидеями!
Деньги — не повод для расстройства.
Важна идея!

Спешите за компьютер сесть,
копите в них романы-гипер.
Я вырублю энергосеть.
И уничтожу все, как Гитлер.

ВСЕ: Упоительные ямбы!
Но нам бы — ням-ням бы...

ЖУТКИЙ КРАЙЗИС СУПЕР СТАР

Рок-опера

384 А. Вознесенский

1

Эмиссия листопада.

Не выехать, не пройти.

Эмиссия аристократов —

по курсу один к тридцати пяти.

Эмиссия повсеместна —

притормози машины!

Эмиссия пессимизма,

эмиссия матерщины.

Шурша листопадом мыслей

с Пречистенки до Охотного,

русская журналистика,

идешь со мной, безработная.

Ты Осипа строчку пела.

Шел оцип прессы крутой.

Талантливейшие перья

носятся над страной.

Им отпуск не обналичили.

Да пропади все пропадом!

Российская журналистика

безработна, но не безропотна.

Падают кроны. Женщины

падают. Жжет цена.

Иванушка International,

как крик, летит из окна.

Гуляй же, черная мода,

обтянута вроде ласт.

Безработная наша свобода,

четвертая наша власть!

И новая музыка штопором

закручивает бульвар.

Мы все герои рок-оперы
«Жуткий Крайзис Супер Стар»

2

ХОР:

Новый мелос, мелосмелос,
все смело, смелосмело,
в магазине, что имелось, —
в одни руки по кило.

Мыло — мыломыломыло мы — ломы!
драка — дракадракадра кадракадрака!
булка — булкабулкабулкабулКабул
сметай минтай минтай ин тайм in time

В Лувре под святые визги
вынесли на обзор
платье Моника Левински
как абстрактнейший шедевр.
Мы бы эту Моника
смяли, как гармонику!
Простирнули бы — all right.
Чистота — ну просто «Тайд».

Кто упер надежд кристалл?
Жуткий Крайзис Супер Стар.

3

Идет эмиссия мыслей. Поющая мисс Эмиссия
снимает коммиссионные с эмиссии пописы.
Шуршит под ногой опущенная
эмиссия компромиссов.
В козлах, что хрустят капустой, —
эмиссия пустоты.

Свобода по фене ботает. Мы можем ей поделиться.
Эмиссионер свободы красиво шмальнет с винта.
Любая модель бездарна
без дали идеализма.

Мы — новые безработные.
Внутри у нас пустота.

Эмиссия демонстраций.
Филиппики горемычные.

Особняки кирпичные краснеют из-за оград.

Российская журналистика

сильней Настасьи Филипповны,

не пачки купюры липовой —

журналы ее горят!

Станки печатные заняты.

Им не до литературы:

пустые стихи и романы

абсорбируют пустоту.

Стоят золотые заморозки.

Слетают с осин алтушки.

Запойному графоману,

мне пишется в пору ту.

Мой край, где Нуреев лунный

метал перед нами бисер,

где пулю себе заказывал георгиевский соловей,

неужто ты не мессия,

как Андрей Белый мыслил,

неужто, Россия, стала

эмиссией нулей!?

XOP:

Налей

«старочки» в хрусталь.

Жуткий Крайзис Супер Стар.

Кеннет Старр, назначенный Клинтоном

следователь, потратил на его разоблачение 40 млн долларов из госбюджета.

11 000 милиционеров и 6 000 военнослужащих участвовали в демонстрации протеста под лозунгами:

«НАРОД К ОТВЕТУ!»

«СТРАНУ В ОТСЯВКУ!»

«КЛОНИРУЙТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРКАССАХ!»

«Не храните деньги в гречневых кашах!»

Началось планирование куньюр.

Стольник — это наш Большой театр.

На наших глазах четверка коней на фронтоне превращается
в девяtku, а к вечеру их уже становится двести, как
в программе «Вести».

Кони, кони, как тучи, летят над городом — табуны!
Женичины, визжа от восторга, задирали головы. Ароматные,
мохнатые апельсины сыпались с неба.

Мы с тобой условились встретиться у третьей колонны
Большого театра, но через час она склонировалась в тридца-
тую, а к вечеру — в двести тридцать первую!

28 августа я пел на сцене Большого.

Оркестр из долговой ямы грянул увертюру из оперы «Жуткий
Крайзис». Сразу я почувствовал, как левый карман вздувает-
ся подобно флюсу. Боже мой, ведь там я положил купюру
с Большим театром. Сорок театров раздували мне брюки —
и в каждом была сцена, зал и свой крохотный поэт у микро-
фона. Кони, кони упруго вырывались на волю. Только молния
бы выдержала!

Ты делала мне из зала страшные паза.

Но деньги-то воздушные — я поднялся на левой штанине как
на воздушном шаре и полетел за кулисы. Там мы обменяли
все Большие театры на зеленую башенку с медальоном из
Президента.

Когда Бог произносит слово «Большой», он заикается:

«Боль... боль... боль... боль...»

В городе исчезла

Черное нце несли на носилках.

Вы читали «В круге первом» женицына ?

В по ствах толпились за визой.

Маршировали даты.

Пели: « овей, овей, пташечка!»

Назревал яной бунт.

В Нью-Йорке царил омон Волков.

исты филармонии разучивали мелодию

«Жуткий Крайзис».

Да здоровствует мировая идарность истов
филармонии.

4

Как страна моя, я в долгах.

Придуряюсь. Кажусь беспечным.

Одеваюсь, как вертопрах

золотого обеспечения.

Я — в кусках, как и вся страна.
 Мои области расползаются.
 И душа моя раздана
 кому-то на трансплантацию.

Я поставлю свечу за них,
 кто живет, за деньгу удавится.
 Ведь художник всегда должник,
 одновременно — займодавец.

Заяц ссудит мне до зимы
 свою сброшенную шкуру.
 На подвал наворую тьмы,
 твоим светом наштукатурю.
 Жизнь дается нам всем взаймы.

Не признаемся, что горим.
 Кто нуждается — мы подсобим.
 Если мне так, то как же им,
 существуя на пару сотен?

Выйдешь летом — ну что за look!
 Как растет в цене многократно
 росный ландышевый луг,
 не разменянный на караты!

Выпал снег. Горше пик картежных
 скачут женщины, как грачи,
 чтоб невырытые картошки
 откопать, сохранив гроши.

Смотрит в русском долготерпенье
 череда раки на лугу.
 Перед ними в долгу теперь я?!
 Что за чушь! Но заснуть не смогу —

снится ландышевый мне лоб
 бабки в стираном сарафане —
 не имея денег на гроб,
 похоронена в целлофане.

ХОР:

*Шли мы из Епифании —
 выпивали — тропой зарастающей.*

Навстречу Он:

«Неправильным курсом идете, товарищи!

Один рубль идет по курсу «один к тридцати» (для купли).

Деревья разевали дуплы.

Кеннет Старр приделывал к каждому дуплу по капканчику.

ПАРТИЯ ПИЛАТА № 6:

Мы, как «Орбит», живем без сахара.

Пересядь на телегу с «Опеля».

Вымыть руки и душу затраханную —
дайте мыльную оперу!

ПАРТИЯ ВАРАВВЫ:

Ну и нравы...

Кота в холодильнике трупик найду

и пару сосисок в холодном поту.

Вы не правы.

ИУДА:

После Брежнева, скажу я,

явный кризис поцелуя.

МАГДАЛИНА:

Жду, накрасясь. Клиент слинял.

Жуткий Крайзис. Супер Стар.

С Большим театром я завязал. По экономическим причинам.

Перешел на червонцы.

Но почему посредине нашей десятирублевки напечатано

крупно «КРАСНОЯРСК»? И башенка местного Кремля,

и плотина Красноярской ГЭС?

Может быть, красноярский рубль уже отделился от москов-
ского? И Красноярская Республика имеет свою армию, валю-
ту, свой язык?

Но что обозначает на их языке «десять рублей»? Я шел,
насвистывая мелодию из «Жуткий Крайзис». Вдруг штаны
мои промокли. Внезапно из плотины ГЭС пустили воду.

Ты меня высушивала и утешала.

«МЕНЯЮ КООПЕРАТИВНУЮ КУПЮРУ

«ОТ КУТЮР», В ЦЕНТРЕ, НА ЗЕЛЕНУЮ

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЮБОМУ КУРСУ.

ВОЗМОЖНА АНТРЕСОЛЬ».

*В городе появилась соль.
 Все плакали. Ресницы заиндевели. Начались морозы. По радио
 гоняли песню «Ассольвейг».
 Шел крепкий посол Прибалтики. В банках и бочках.
 «Да посоль ты...»
 «Соль — соль — соль — соль», — играли скрипочки.
 Все концерты были сольные.
 Некоторые — малосольные.
 Но что бы они ни играли, они всегда играли мелодию
 из «Жуткий Крайзис Купюр».*

Эмиссия листопада
 чеканки лавры Печерской.
 Эмиссия чистогана
 небесного обеспечения...

Действительность неподсудна.
 Я жизнь не переабсурдил.
 (Я сам, написав рок-оперу,
 от ужаса посинел).
 Влжките, зовите опера!
 Я — главный эмиссионер.

Печатаемые строки
 тебе не принадлежат.
 Повсюду знак: «Осторожно!
 Эмиссия. Листопад».

5

Песня Иуды

Иуда — аудио!..

Дезинформацию не исправите.
 Не предавал я Господня Сына.
 Меня повесили на осине.
 И бесы праздновали повсюду
 иды Иуды.
 А аудитор сдавал посуду.
 Я ваши души сосу улиткою,
 вроде глиста.

Как Кеннет Старр любил Билла Клинтона,
 так я, отверженный, люблю Христа!
 Бог не ошибся. Он мной воспитывал.
 Он муки вместе со мной испытывал.
 Не брал я ссуды.
 Аудитории нужно чудо.
 А показательному процессу
 нужен Иуда. Роли известны.

Паскуды в «Ауди».
 Иуда — в ауте.
 Но разлюбить Его вы не заставите.
 Харкает кровью рябина в августе.
 Вою в Саудовской пустыне памяти.

Иуда — аудио...

*А Кеннет Страус откапывал яйца в пустыне
 Интернета.
 В Интернет перешел журнал «Пушкин».
 Нет работы.
 Все кабинеты отвечают: «НЕТ — НЕТ — НЕТНЕТНЕТ»,
 словно определенный артикль ТНЕ.
 «Не тот это город и полночь не та».
 Неталла Борисовна просит миллион неталых роз.
 Нетанки атакуют Белый дом.
 Нетармия ловила дезертиров.
 Нева текла, как нетеневая экономика.
 «Нет любви», — бормотал Кеннет.
 «А на нетральной полосе», — пели с нетого света.*

Мы — бомбы, начиненные нетроглицерином.

6

ХОР:

Съел капусту. Суп не стал.
 Ну и козел ты, Супер Стар!
 КОЗЕЛ (с интонацией революционера):
 С рублевого Владивостока
 до пятисотки Соловков
 оплата более жестока,
 чем полагает острослов.

Деньга — первопричина Кризиса:
купюры русские суммируй —
получится ЧИСЛО АНТИХРИСТА.
Господь, спаси нас и помилуй!

«Пятьсот» плюс «Сотня» плюс «Полсотни»
плюс «пять» плюс «десять» плюс «один» —
их сумма пахнет преисподней.
За них мы душу продадим.

7

В иллюзии листопада
ты где-то шуршишь по саду.
Как зебра, вся полосата
от лунного серебра.
Тебе ничего не надо.
Шикарно шуршать по саду,
гуляющие нервы
в ночной пучок собира.

Лягушки Аристофана
бормочут из листопада.
Лист в пятнах от «Мукузани»
шуршит, как лаваш, лаваш...
В душе идет девальвация —
ни славы, ни козней НАТО,
ни Праги с площадью Вацлава —
слова, слова, слова.

А может, и не по саду,
шуршишь лучом по фасаду,
обвал свободного времени,
обрыдло лежать ничком.
А может быть, забеременеть?
или сменить прическу?
А ну вас, пошли вы на фиг!
Не надобно ничего.

Задерживается зарплата.
Друзья свистят с эстакады.

Христианская интифада
камнями бьет своего.
Тебе ничего не надо.
Тебе ничего не надо.
Тебе ничего не надо,
кроме любви — ничего.

8

Все ничего — успокойся.
Не нагружай чело.
В мире, летящем косо,
все ничего.

Перед твоей любовью
все — ничего.
Видишь, за изголовьем
очень черно.

Ангел хихикает гаденько.
Молимся за него.
Что нам деньга-деньга-деньга?
Все ничего.

Все на рубашке вишни —
все ничего,
все обещаю Всевышнего —
все ничего.

Корчи Держав в геенне,
чмокающиеся чмо.
Перед Твоим мгновеньем
все — ничего.

Я — олигарх Безденежья,
беличье колесо.
Бог мне шепнул во всенощной,
что Ничего — это все.

Всех четвергов и пятниц
дым кочергой,

и гениальных пьяниц
блеск речевой.

В спешке сегодняшней гоночной
жить всего ничего.
Люблю в темноте иконочной
земляничники ночничок.

Женские абрикосы.
Первый концерт Чайко...
Все у нас. Успокойся.
Все — ничего.

Ни предпоследней станции.
Ни НЛЮ.
Все, что от нас останется.
Все — ничего.

9

*Кеннет Старр, вуайерист и нравственник, читал сонник.
«СОННИК» — «СОННИК — СОННИКСОН — НИКСОН» —
с удовольствием повторял.*

Вторая строка ему не понравилась:

«строкастрокастроКАСТРОкастрокастрока...»

*Далее следовало нечто непонятное: почему-то магнитно
соединились слова:*

«ГРИН ПИСДЕЦИБЕЛЛЫ».

Старр заволновался и полез за русским словарем.

ХОР:

Кто купировал Луку?
Супер Крайзис на слуху.

ХОР ПРЕССЫ:

«Кеннет Старр получил лестное приглашение от американского порнографического журнала» («Нью-Йорк Таймс», август 1998 г.) «Андрей Вознесенский попал в долговую яму» («МК», 21.09.98) «Андрей Вознесенский купил виллу на Багамах» (НТВ, 16.04.98) «Андрей Вознесенский вместе со Шварценеггером и Брюсом Уиллисом избран во Всемирную Лигу удачи» («Комс. правда», сентябрь 1997 г.) «Вошел луноликий Андрюша Вознесенский. Акт соития произошел прямо на сцене»

(«Караван историй», август 1998 г.) «На квартире на Котельнической набережной был произведен обыск. Ищали порнографическую ненаписанную поэму Вознесенского «Царь Никита». Нашли и конфисковали 47 рублей». («Независимая газета», февраль 1999 г.).

«ТРУД СОЗДАЛ ИЗ ЧЕЛОВЕКА ОБЕЗЬЯНУ. НЕТРУД СОЗДАЛ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА».

Партия Артемия Троицкого

Птички Божьи не сеют, не пашут,
а клюют, что Господь послал.
Спаси кроны и женщин падших,
Супер Стар!

Бей мозги, как орехи грецкие!
В океане всеобщей лжи
и вожди, и интеллигенция —
все бомжи.

Утверждаю я, что есть выход!
Или же наоборот.
Вы хоть
подпишитесь на свой народ.

СВ. АНДРЕЙ:

Меня мучает идея:
может, XXI век
к двум крестам св. Андрея
присоединит минарет?

ПРИЗРАК:

Ноу-хау? Ноу хау?
Да... хау!

ФОМА:

Клонированные головоногие —
явный кризис экологии.

ХОР:

Всюду Кризис Супер Стар.
Крысы побегли в астрал.

Эпилог

Из лягушек черных дождь —
душ, душ, душ, душ...

— Что еще от неба ждешь?

— Жду, жду, жду. Жду-с.

Душ из треугольных груш,
из всего, что ни скажу.

Пляшут лупы луж, луж,
отражая лжу, лжу.

Тебя жалит лжа, лжа.

С неба льется ржа, ржа.

Тебя мучит жар, жар.

«Жар чего?» — спросил Кен Старр.

Барабанят трупы градом

и прыжки самоубийц.

Не швыряй ты в нас, торнадо,

табуретки, как кубист!

Тебе дождик надо, надо.

Встань под душ. И отрубись.

Дождь из женщин, из лимонов,

душ иллюзий, как Лелюш.

Тушь с твоих ресниц соленых

по щеке ползет, как туз.

Закрываются журналы.

Фирмы хлопают дверьми.

Безработною ты стала,

мисс СМИ.

Как? Наверное, по пьянке

с неба в гости рухнул к нам

кризис банка, банкабанка,

как подраненный кабан.

Что ему твои вазоны?

Чувства, что воспел Назон?

Зона, зона, зоназона
блещет лагерным ножом.

Дождь из крыс и из мышей —
с крыши — шейм, шейм, шейм,
желтый и сухой, как dust...
Не принимаем этот душ!

Притяжение нарушу.
Мозг померк. Как фейерверк,
поверну головку душа
снизу —
вверх!

*Боже мой! Все понеслось. Фантастика.
Мощные струи дождя перевернулись и били в небо,
как фонтаны. Сильные шланги, сбивая ангелов,
обмывали тучи, как садовники кроны.
Все твои жабы понеслись вверх по струйкам,
как грибы на ниточках.
Труп стремительно карабкался в рай,
как матрос по канату.
Паучок печали умчался вверх.
Презили гейзеры.*

*Мысли людей устремились в небо из затылков, как из головок
душа со слабым напором. Они не достигали высоты, но сия-
ли, как хрустальные маленькие коронки.*

*Коровы,
мыча, мчались обратно в тучи, как в грузовом стеклянном
лифте.*

*Кен Старр
уносился к своему порнографическому журналу. «Как будто
струйки биде, — кивнул он на фонтанчики. — А где же Пре-
красная дама? Ах, это же Луна...»*

Но подглядеть ему не удалось.

Все покрылось тенью затмения.

*Или это мне померещилось? Но сам Князь тьмы. Кайзер
Крайзиса, венценосный Кабан, подобно дирижаблю, уплывал в
свои родные болота.*

*Появилась надежда работы.
Этот душ нам подходит! Принимаем этот душ!
В разрывах туч ночное небо сияло,
как звездное платье Моники.*

Принимаем антидождь.
Принимаем этот душ.
Где ж простынка?! Ты идешь?!
жду, жду, жду. Жду-с.

ХОР:
Кто упер мой пьедестал?
Жуткий Крайзис Супер Стар.

Прощальная песня Магдалины

Ты меня оставил безработною.
Ты меня оставил.
Ночи безработные, ноги безработные,
душу безабортную.

Имя мое бардами заболтано.
Ты меня ославил.
Мне Писаний всех, с Тобой не сходных,
ближе Павел.

«Труд, — учили нас, — любой почетен».
Ты сказал мне: «Грех».
Я Тебе дала пощечин.
И заплакала при всех.

Понимала Тебя — плакала,
не умела записать.
Наизусть шептала Павла —
не умела прочитать.

Шли солдаты, лапав, лапавлапав.
Павла помнила глаза.
Савла, Савла, Савла из сатрапов
помнила власа.

Под горой Иерусалима
плачущий застыл,

как объятье Магдалины,
белый монастырь.

Мою душу с неба тянет
до земной черты,
где Тебя обмыла тайно.
Вижу все —
как Ты,

балансируя меж скопищ
непонятных сил,
тихо, как канатоходец,
в небо уходил.

ХОР:

Мир на грани. Вот сорвется!
Кризис жмет. Но неспроста
балансирующие канатоходцы
повторяют движенье Христа.

ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ СЛОВ ХРИСТА

Поэма

400 А. Вознесенский

Вступление

Нам предзакатный ад загадан.
Мат оскверняет нам уста.
Повторим тайно, вслед за Гайдном,
последние семь слов Христа.

Пасхальное вино разлейте!
Нас посещают неспроста
перед кончиною столетья
прощальные семь нот Христа.

Не «Seven up» нас воскресили.
В нас инвестирует, искрясь,
распятая моя Россия
the seven last words of Christ.

Пройдут года. Мой ум затмится.
Спадет харизма воровства.
Темницы распахнет Седмица —
последние семь снов Христа.

Он больше не сказал ни звука.
Его посредник — Красота.
Душа по имени Разлука —
последнее из слов Христа.

I

Мои Палестины дымятся дыбом.
Абсурдный кругом театр.
**Боже, прости им, ибо
не ведают, что творят.**

Будущий схимник, слезясь от гриппа,
изобрел водородный заряд.

Отче, прости им, ибо
не ведают, что творят.

На общей простынке в трехспальном клипе
стало тесно троим.

Боже, прости нам, ибо
не ведаем, что творим.

Джентльмены фригидны.
После «Смирновской»
дамам невмоготу.
Father, forgive them, for they know
not what they do.

Тусовок люблю разодетый вздор,
как полюбил христиан Диор.
Наш творческий поиск неутомим,
ибо не ведаем, что творим.

Медведь воспитывает Пустынника.
Клонируют дьяволят.
Пробирку медик нес на крестины.
Медведают, что творят.

А в сердце бои между Духом и био —
не сладишь с сердцем своим,
ибо ибoибoибoибoибoибo
не ведаем, что творим.

В нынешнем августе крестообразно
встанут планеты в ряд.
Простишь, когда сами рабы соблазна
Апокалипсис сотворят?

Идет простывшая Магдалина,
нимфетка, сквозь снегопад.
Нет окаянного кокаина!
Не ведают, что творят.

Постыдные толпы вопят до хрипа,
но снова не Тот распят.
Боже, прости им, ибо
не ведают, что творят.

И телевизор, как вещая рыба,
транслирует все подряд.

II

Нанижи жемчуга из Китежа,
сны нижи на печаль свою.
Говорю тебе истинно, ныне же
будешь со Мной в раю.

И не после земного финиша
после Судного интервью, —
обещаю: при жизни, ныне же
будешь со мной в раю.

Нету рая, кроме любви.
Завтра друг мой меня продаст.
This day shalt thou be
with me in Paradise.

Мы с тобой не в телепрограмме,
чтобы всем про оргазм орать.
Мы уже за райской оградой.
Души сбросили маскарад.

В католических трубках органа,
на затылке темного зала,
гарнитурой простого органа
мне твой гребень блеснет опять.

Будто жребий мне предсказала.
Будто сплю я. И сон мой странный.
Будто сплющенные перстами,
будут смятые трубки органа
папиросы напоминать.

Мы родные с тобой отныне.
Данте с эросом пародиста
комментирует по-латыни:
mecum eris in Paradiso.

Вздогнут раны мои занывшие.
Будем с Богом наедине.

Ныне же, ныне же, ныне же
жены лучше не надо мне.

Молитва Марии

За тебя я боялась во сне
и в толпе, где тебя оборжали.
Ты — мой Дух. Я тебя обожаю.
Обожаю, когда Ты во мне.

В нашей Богом забытой стране
Ты — единственный нравственный
кодекс.
Я люблю, когда Ты в меняходишь.
Обожаю, когда Ты во мне.

Я Тебя затаю. Никому
не отдам. Я Тебя обожаю.
Никому — никакому Бежару,
никакому Камю.

Даже ежели Ты на Луне,
в суматохе, на abordage,
Ты со мной. Я Тебя обожаю.
Обожаю, когда Ты во мне.

Мой товарищ по жизни в огне.
Ощущаю меж наших пожарищ —
Боже мой! — ты меня обожает.
Обожает, когда ты во мне.

III

Жено!

Истинно говорю — се, сын Твой!
Ученик! Се, Мать твою!
Женоненавистники пахнут псиной,
прах в семантике растворя.

Ученица моя, Магдалина,
мандарины дари с куста.
Смерть моя нас не отдалила.
Звон малиновый пьют уста.

Словно грешница, ноги осине
я в слезах смываю сам.
Матерь Божию, утешь Сына!
Mother, behold thy son.

И бессмертной сфинкса рябого,
тишиной слова заглуша,
безутешно творит работу
вечно женственная душа.

* * *

Что натворила ты непоправимо!
В палате пахнет яблоко — апорт.
Но никому не скажешь, Магдалина,
что ты от Бога сделала аборт.

* * *

Вновь как мадонна Возрожденья,
прощеным светом даришь ты.
Все обошлось без зараженья.
Но только вместо дня рожденья
стоят прощальные цветы.

* * *

Если любила, что ж ты, Магдалина,
убила неповинного мальчика?!
Он бы назвал Отцом Господня сына
и Богом-дедом звал Его Отца.

IV

Господи, Боже мой, Отче!
Для чего Ты меня оставил?
Погляди на земные корчи
очной ставкою из астрала.

Отче! Дух мой меня оставил.
Не достать луны кочергой.
Нож на Каина поднял Авель.
Отче, Господи, отчего?

Отчего мы под фарисеями?
Луна клеит скотч на чело.
My God, why has Thou forsaken me?
Для чего?

Длятся годы мои вне правил.
Новый век объявил «очко».
Для чего Ты Россию оставил?
Чтоб спасти людей? Для чего?

Над отчизной хохочет дьявол.
Реет пепл родных очагов.
Для чего Ты меня оставил?
Отче, Господи, отчего?

V

Жажду.

Пить! Ненасытно.
Волгу выпил бы дважды.
Citio!
Жажду.
Нутро мое оросите!

Москва горит, Нью-Йорк-сити,
трещат, как кассеты-видео...
Citio.
Все на продажу!
Жаждет клеточкой каждой,
жаждет, сжатый, как дайджест,
внутри пересохший торс.
I thirst.

Снежку бы... грязного даже...
с обочины лавки Сытина...
Боже, спаси Россию!
Citio.
Жажду любви, хоть росиночку...

Мы кончили с жизнью тяжбу.
Как женщина, жизнь ушла.

Винною губкой страждущие
освежите мои уста!

Пожарища. Душно. Тяжко.
Страдания остужа,
рождается — жажду, жажду,
жажду, жажду! —
Д У Ш А.

VI

К духовным вершинам
Ты душу вынешь
из казематных мест.
Свершилось!
It's finished!
Consumatum est!

Кончено, Отче.
Корчатся мощи.
Страдания — Божий тест.
Мне тело, как силос.
Мне жизнь как приснилась.
Прощаясь, целую крест.

It's finished.
Свершилось.
Consumatum est.

Малиновый звон окрест.

VII

Окончены муки. В очи
светится путь домой.
Я в Твои руки, Отче,
передаю дух Мой.

Сложишь ладони домиком —
ныне же мы в раю.
Вырвавшись от подонков,
дух Мой передаю.

Что ж я страшусь разлуки
с жизнью? Пропел петух.
Боже, я в Твои руки
передаю Мой дух.

Хватит играть комедь.
Сад мой вишневый спялят.
Into Thy hands, I commend
my spirit.

Гаснет все, что имеем.
Манитаризм лукав.
In manus commendo spiritum.
Дух Мой в Твоих руках.

Века без возлюбленной женщины
мне пребывать в бессоннице.
Одна без меня во Всенощной
к колонне она прислонится.

Над брошенными погостами
останется мыслить камень.
К Тебе возвращаюсь, Господи.

Амен.

Землетрясение

Землетрясение.
Семь летросетов.
Распад России. Псы пахнут серой.
Семей крушение. Тоска в семь серий.
Семь семафоров жизни смертельной.
Сергей-есенинские уста...

Се, Революция сейчас — в смирении.
Ева, вкусившая семиренку,
опять чиста.

Над недоразвитыми детьми
смилуйся, государыня СМИ!
У Мироносицы — усы Хусейна.
Будя дремоту, под новый век
ерусалимский пел кукарек.

Il terremoto? The Earthquake?

Армения и Македония.
Кресты. Серпы. И магендовины.
Я чую в наших закидонах
аромат Армагедона.

Смятенъе духа. Духотрясенъе.

Над марсейками, как насадка,
замрет трассирующая звезда,
над куполами, вместо бассейна,
над планетария зрчком базедовым
вздыхнет внимательная слюда.

Мой семидневник, мой собеседник...
Прочту с листа:
«Не в супербоингах спасетесь семьями.
Смысл в сердоболлии,
в любви — спасение».
А математика любви проста.

Семь отрешений,
семь милосердий.

Се, Матерь Божия!..
Читаю сердцем.

Это последние семь слов Христа.

CE

Семь се

	се
Се	сѣмь се
Сѣмь сѣм	сѣмѣ
Се — се	

Ce, ce cm
 cem

CM CM
ce

Ce

C_M ce
ce ce
ce

C_M

Семь
семь се

Се, Матерь Божия!..
се
се

Это последние семь слов Христа.

Содержание

Витражных дел мастер

Романс	– 7
Хобби света	– 8
Ностальгия по настоющему	– 10
Яблокопад	– 12
«Есть русская интеллигенция...»	– 16
Озеро	– 18
Беловежская баллада	– 20
Звезда	– 22
Обмен	– 24
«Боже, ведь я же Твой стебель...»	– 25
Похороны цветов	– 26
Смерть Шукшина	– 27
Вольноопущенник времени	– 28
Мужиковская весна	– 29
Табуны одичания	– 30
Черное ерничество	– 32
Новогодние ралли-стоп	– 34
«Дорогие литсобратья!..»	– 37
«Когда по Пушкину кручинились миряне...»	– 38
«80» — в нимбе знака...»	– 39
Российские селф-мейд-мены	– 40
Не забудь	– 42
Гость из тысячелетий	– 44
Песчаный человечек	– 49

Пир	– 50
Неба был..	– 52
«Друг мой, мы зажились.	
Бывает...»	– 54
Эрмитажный Микеланджело	– 55
Засуха	– 56
Истина	– 57
Любовь	– 58
Утро	– 59
Гнев	– 60
«Ночь» Буонарроти	– 61
Мадригал	– 62
Эпитафии	– 63
Смерть	– 64
Фрагмент автопортрета	– 65
Спринтер	– 67
Реквием	– 68
Красота	– 70
Старый Новый год	– 72
Авось! (Поэма)	– 74

Взгляд

- Скульптор свечей – 93
 Песня акына – 95
 Реквием оптимистический – 96
 Автомат – 98
 «Я шел вдоль берега Оби...» – 100
 Мать – 102
 Водная лыжница – 104
 Кромка – 106
 Жестокий романс – 107
 Донор дыхания – 108
 «Я — двоюродная жена...» – 109
 Ода дубу – 110
 Свет друга – 112
 Две песни
 I. Он – 113
 II. Она – 114
 Хозяйки – 115
 Заповедь – 116
 Правила поведения за столом – 118
 «Приснись! Припомни,
 бога ради...» – 119
 Соловей-зимовщик – 120
 «— Мама, кто там вверху,
 голенастенныйкий...» – 122
 «Над темной, молчаливою
 державой...» – 123
- «Мы обручились временем
 с тобой...» – 124
 «Отчего в наклонившихся ивах...» – 125
 Фиалки – 126
 «Мы снова встретились. И нас...» – 128
 «Мы нарушили Божий завет...» – 129
 Ее повесть – 130
 «Айда, пушкинианочка...» – 131
 Старофранцузская баллада – 132
 Скука – 133
 Ода на избрание в
 Академию искусств – 135
 Пасата – 136
 «Признаю искусство...» – 138
 Муравей – 139
 Разговор с эпиграфом – 140
 Песня о Мейерхольде – 142
 Ванька-авангардист – 143
 «Отец, мы видимся все
 реже-реже...» – 146
 «В скольжение юзом —
 специфичность...» – 148
 «Расчищу Твоей снегопады...» – 149
 Дама трэф (Опера-детектив) – 150
 Очередь московских женщин – 166

- Сага – 169
 Монолог Резанова – 170
 Уездная хроника – 172
 Пиета – 175
 Соблазн – 176
 Преображение – 178
 Люмпен-интеллигенция – 180
 Нечистая сила – 181
 «Я внесу тебе клумбу зимнюю...» – 182
 «Ресторан качается,
 точно пароход...» – 183
 Не исчезай – 184
 Ипатьевская баллада – 186
 Заплыв – 187
 Первая любовь – 188
 Ответ на записку – 189
 «Вы мне написали левой...» – 190
 «Кричала девочка багистовая...» – 191
 «Кому на Руси жить плохо» – 192
 Инструкция – 193
 Монолог века – 196
 Ода одежде – 198
 Перед ремонтом – 199
 Стеклозавод – 200
 Долг – 202
 «Под ночной переделкинский
 поезд...» – 203
- «Как сжимается сердце дрожью...» – 204
 «Для души, северянки
 покорной...» – 205
 «Бобры должны мочить хвосты...» – 206
 Вторые рожи – 207
 «Я не ведаю в женщине той...» – 208
 «Облака лежали штучные...» – 209
 Зарастающее озеро – 210
 Оленья охота – 212
 Мальвина – 213
 Бойни перед сносом – 218
 Черные верблуды – 224
 Вслепую – 225
 Свеча – 227
 Молчаливый звон – 228
 Храм Григория Неокесарийского,
 что на Б. Полянке – 230
 «Увижу ли, как лес сквозит...» – 232
 «Раму раскрыв, с подоконника,
 в фаруге...» – 233
 «Висит метла —
 как танцплощадка...» – 234
 Обсерватория – 235
 Терновник – 236
 Прости мне – 237
 Новая Лебедя – 238
 «На улице, где ты живешь...» – 240

«Льнешь ли лживой зверью...» – 241

Р. S. – 242

«Я загляжусь на тебя, без ума...» – 243

Гибель оленя – 244

Женщина в августе – 245

Север – 246

Лед-69 – 247

Такое же — и все другое

Римская распродажа – 259

Пейзаж с озером – 260

Русско-американский романс – 262

Книжный бум – 263

Рукопись – 264

Лирическая религия – 266

«Зачем из Риги плывут миноги...» – 268

«Я год не виделся с тобою...» – 269

Лесная малица – 270

Утица – 271

Часы посещения – 272

«Для всех — вне звезд, вне митр,

вне званий...» – 273

Другу – 274

«Виснут шнурами вечными...» – 275

Перед рассветом – 276

«Знай свое место, красивая

рвань...» – 277

Открытка – 278

«Я ошибся, вписав тебя ангелам

в ведомость...» – 279

Месса-04 – 280

Грех – 282

E. W. – 283

«Когда написал он Вяземскому...» – 284

Пароход влюбленных – 285

Тетка – 286

Аннабел Ли – 287

Травматологическая больница – 288

Рентгеноснимок – 290

Фары дальнего света – 292

Автолитография – 293

«Погадай, возьми меня за руку...» – 296

Никогда – 297

Берегите заик! (Залог поэмы) – 298

Гадание по книге

- Цикламена – 311
- Распусти волосы – 312
 - «Мордем, друг.
- Подруги молодуют...» – 314
 - Шло убийство – 315
 - Искушение – 317
 - Мальчик стекол – 318
 - Бомж – 319
- Исповедь «сырихи» – 321
 - Лиза ОМОНА – 323
 - Секс-контры – 324
- Черные простыни – 326
- «На место Сахарова лег...» – 327
- Россия без очередей – 328
- Переделькинский ключ – 329
 - Мы — ямы – 330
- Репейник Империи – 331
 - Русская песня – 334
 - Я — money – 336
 - № 17 – 337
- «Куплю «макарова»...» – 339
 - Бульвар – 340
- «Когда совсем уж плохо...» – 341
 - «Пусть жизни пролито
 - полчаши...» – 342
- «Море красится сурьюмоу...» – 343
- «Пальцы твоей ступни,
 - уменьшающиеся, как слоники...» – 344
- «Не разлюбите без взаимности!..» – 345
 - Эфирные стансы – 346
 - В Склифе – 348
 - Зевака – 349
 - «Тот — в Склифосовке...» – 350
 - Переход – 351
 - «Россия, нищай Россия!..» – 354
 - «Ты — та же скрипка,
 - только скрытая...» – 355
 - «Мы от музыки проснулись...» – 356
 - Гарь – 357
 - «Как спасти страну от дьявола?..» – 358
 - Грех Уныния – 359
 - «Я последний поэт России...» – 360
 - Молитва – 361
 - Диссертация о «Голом Короле» – 362
 - «А ты все сидишь на пляже...» – 363
 - Путешествие из Ленинграда
 - в Петербург – 364
 - Two-sovka – 368
 - «От Генриха Сапгира...» – 371
 - Очисти снег – 372
 - Еще очисти снег – 374
 - «Хозяйка квартиры...» – 375

Мумии мысли –	376
«Когда человек умирает...» –	378
Демгородок –	379
Звезда по имени поэта –	380
«Двое подошли к калитке...» –	381
«Духовной жаждою томим...» –	382
Реформа в литературе –	383
Жуткий Крайзис Супер Стар (Рок-опера) –	384
Последние семь слов Христа (Поэма) –	400

Андрей Андреевич Вознесенский

2=1>3 000 000 000

Собрание сочинений в пяти томах. Том второй

Редактор Е.В. Толкачева
Художественный редактор Т.Н. Костерина
Технолог С.С. Басипова
Оператор компьютерной верстки И.В. Соколова
Компьютерная верстка блока иллюстраций А.Е. Стрелков
Компьютерная верстка обложки В.М. Драновский
П. корректоры В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2:953 000 — книги, брошюры
Подписано в печать 02.11.2000. Формат 60 × 84/16.
Гарнитура New Standard C. Печать офсетная. Объем 26 печ. л.
Тираж 5000 экз. Изд. № 1570. Заказ № 598.

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троцкая, 7/1
E-mail — vagrius@vagrius.com
Информация об издательстве в сети Интернет:
<http://www.vagrius.com>; <http://www.vagrius.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской
Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском
предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
113054, Москва, Валуев, 28.

Оптовая торговля:

Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36,6»
Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90
E-mail: club366@aha.ru
107078, г.Москва, а/я 245 «Клуб 36'6»

КОРФ «У Сытина»:

Тел.: (095) 156-86-70. Факс: (095) 154-30-40
E-mail: sytin@aha.ru или shop@kvest.com

Интернет-магазины: <http://www.kvest.com>; <http://www.24x7.ru>

По вопросам оптовой покупки книг издательства АСТ обращаться по адресу:

г.Москва, Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

ISBN 5-264-00549-4



9 785264 005497 >

